Дойл Артур Конан

Подвиги бригадира Жерара

1. КАК БРИГАДИР ПОПАЛ В ЧЕРНЫЙ ЗАМОК

Это хорошо, друзья мои, что вы оказываете мне почтение, – почитая меня, вы платите дань уважения и Франции и самим себе. Перед вами не просто старый седоусый вояка, уплетающий яичницу и запивающий ее вином; перед вами осколок истории, последний из славного поколения солдат – тех солдат, что стали ветеранами еще в мальчишеском возрасте, научились владеть шпагой раньше, чем бритвой, и в сотне сражений ни разу не дали врагу увидеть какого цвета их ранцы. Двадцать лет мы учили Европу, как нужно воевать, а когда научили, то только термометр, но не штык оказался причиной поражения Великой армии. Своих лошадей мы ставили в конюшни Неаполя, Берлина, Вены, Мадрида, Лиссабона и Москвы. Да, друзья мои, еще раз говорю: вы не зря посылаете ко мне ваших детей с цветами, ибо эти уши слышали громкие трубы Франции, а эти глаза видели ее знамена в таких местах, где, быть может, никто их уже не увидит.

Даже теперь, стоит мне задремать в кресле, как передо мной проносятся эти великие воины – егеря в зеленых куртках, великаны-кирасиры, уланы Понятовского, драгуны в белых плащах и колыхающиеся медвежьи шапки конных гренадеров. Я слышу частый, глухой бой барабанов, а сквозь клубы дыма и пыли вижу ряды загорелых лиц и длинные красные перья, реющие над саблями, взятыми на плечо. А вон едет рыжеголовый Ней, и Лефевр с бульдожьей челюстью, и чванливый, как истый гасконец, Ланн; и наконец, среди сверкающей меди и развевающихся плюмажей я различаю его, человека с бледной улыбкой, сутулыми плечами и отсутствующим взглядом. И тут снам моим приходит конец, друзья мои, ибо я вскакиваю с кресла, выбрасываю, как шальной, руку вперед и ору не своим голосом, а мадам Тито опять подсмеивается над стариком, который живет среди теней.

Но хотя к концу наших компаний я был полным бригадиром и имел все основания надеяться, что скоро буду дивизионным генералом, все же, когда мне хочется рассказать о радостях и тяготах солдатской жизни, я вспоминаю о первых годах своей службы. Вы сами понимаете: если у офицера под началом множество людей и коней, у него столько забот с рекрутами и конским пополнением, с фуражом и кузнецами, что жизнь для него – штука нелегкая, даже если он противника еще и в глаза не видал. Но если он всегонавсего лейтенант или капитан, то на его плечах нет никакой тяжести, кроме разве эполет, так что он может в свое удовольствие бренчать шпорами, щеголять доломаном, пропускать стаканчик и целовать свою девушку, не думая ни о чем, кроме амурных похождений. Вот в такое-то время у него бывает немало всяких приключений – об этой поре моей жизни я многое мог бы вам порассказать. Пожалуй, сегодня я расскажу вам о том, как я побывал в Черном замке, о необычной цели, которой задался младший лейтенант Дюрок, и о страшной стычке с человеком, которого раньше звали Жаном Карабеном, а потом бароном Штраубенталем.

Надо вам сказать, что в феврале 1807 года, сразу после взятия Данцига, майору Лежандру и мне было поручено привести из Пруссии в Восточную Польшу четыреста голов нового конского пополнения.

Жестокие морозы, а особенно великое сражение под Эйлау истребили столько лошадей, что нашему прекрасному Десятому гусарскому полку угрожала опасность превратиться в батальон легкой кавалерии. Поэтому мы с майором знали, что на передовых позициях нас

встретят с радостью. Продвигались мы еле-еле – лежал глубокий снег, дороги были сущей пыткой, а помогали нам всего человек двадцать раненых, возвращающихся в строй. Кроме того, если у вас запас фуража всего на сутки, а иногда и того нет, трудно заставить коней идти иначе как шагом. Знаю, знаю – в исторических книжках кавалерия всегда несется бешеным галопом; но я, участвовавший в двенадцати кампаниях, говорю; слава богу, если моя бригада идет шагом на марше, зато умеет рысью скакать на врага. Заметьте, это я говорю о гусарах и егерях, а уж что касается кирасиров или драгун – то тем более.

Я большой любитель лошадей, и мне было приятно, что у меня их целых четыре сотни, всех возрастов и всех мастей, и у каждой свой норов. Большинство лошадей было из Померании, но попалось несколько из Нормандии и Эльзаса, и мы, бывало, потешались, наблюдая, как они отличаются друг от друга характером – точь-в-точь как жители тех мест. Мы заметили также – и это потом не раз подтверждалось, – что характер лошади можно определить по масти; светло-гнедые, например, кокетливы, нервны и со всякими причудами, каурые имеют отважный нрав, чалые послушны, а пегие упрямы. Все это, конечно, не имеет касательства к моей истории, но как же иначе старому кавалеристу вести свой рассказ, если все началось с того, что ему дали четыре сотни лошадей? У меня, знаете ли, такая привычка – говорить о том, что меня интересует, – ну, надеюсь, что и вам это будет интересно.

Мы перешли через Вислу напротив Мариенвердера и должны были двигаться дальше, к Ризенбергу, как вдруг в мою каморку в почтовой конторе, где мы остановились на постой, вошел майор Лежандр с какой-то бумагой в руке.

– Вам придется меня покинуть, – сказал он с выражением отчаяния на лице. – Мне-то отчаиваться было нечего: по правде говоря, он не заслуживал такого помощника, как я. Но все же я молча отдал честь.

– Вот приказ генерала Лассаля, – продолжал майор. – Вы должны немедленно отправиться в Россель и явиться в штаб-квартиру полка.

Ничто не могло доставить мне большего удовольствия. Я уже был на хорошем счету у начальства. Стало быть, полку предстоит какое-то сражение, и Лассаль понял, что моему эскадрону без меня не обойтись. Правда, приказ пришел не совсем вовремя, ибо у почтмейстера была дочь – молоденькая черноволосая полька с кожей цвета слоновой кости – и я рассчитывал поболтать на свободе с этой девицей. Но пешке не приходится возражать, когда палец шахматиста передвигает ее с одного квадратика на другой, так что я сошел вниз, оседлал своего рослого вороного коня по кличке Барабан и тотчас же пустился в путь.

Ей-богу, для бедных поляков и евреев, живших беспросветно унылой жизнью, было, наверно, сущей отрадой видеть, как я скачу мимо их дверей. В морозном утреннем воздухе мощные ноги, великолепные спина и бока моего черного Барабана лоснились и переливались при каждом движении. А у меня и сейчас от стука копыт по дороге и звона уздечки при каждом взмахе дерзкой головы кровь начинает бурлить в жилах – представьте же себе, каков я был в двадцать пять лет – я, Этьен Жерар, лучший кавалерист и первая сабля во всех десяти гусарских полках. Цвет нашего Десятого гусарского полка был голубой – небесно-голубой доломан и ментик с алой грудью, В армии говорили, что, увидев нас, население бежит со всех ног: женщины – к нам, а мужчины – от нас. Тем утром в окнах Ризенберга блестела не одна пара глазок, словно моливших меня чуточку задержаться, но что оставалось делать солдату – только послать воздушный поцелуй да позвенеть уздечкой, проскакав мимо.

Мало приятного в такую стужу трусить верхом по самой бедной и некрасивой стране во всей Европе, но небо зато было ясное, и огромные снежные поля искрились под ярким холодным солнцем. В морозном воздухе пар клубился у меня изо рта и белыми султанчиками вылетал из ноздрей Барабана, а с удил свисали сосульки. Чтобы согреть коня, я пустил его рысью; самому же мне нужно было столько обдумать, что я не обращал внимания на мороз. К северу и югу тянулись бесконечные равнины с редкими группками елей и чуть более светлых

лиственниц. Там и сям виднелись домишки, но всего три месяца назад этим путем шла Великая армия, а вы знаете, что это значит для страны. Поляки были нам друзья, это верно, но из сотни тысяч солдат только у гвардейцев были фургоны с продовольствием, а остальным приходилось самим заботиться о пропитании. Так что меня нисколько не удивило, что нигде нет и признаков скота, а над безмолвными домами не вьется дым. Не очень то благоденствовала страна после посещения великого гостя. Говорили, будто там, где император провел своих солдат, даже крысы подыхали с голоду.

К полудню я доехал до деревни Саальфельдт, но так как отсюда шел прямой путь на Остероде, где находилась зимняя ставка императора, а также главный лагерь семи пехотных дивизий, то дорога была забита каретами и повозками. Очутившись среди артиллерийских зарядных ящиков, фургонов, курьеров и все возрастающей толпы новобранцев и отставших от своих частей солдат, я смекнул, что мне, пожалуй, долго придется добираться до своих товарищей. Но на полях лежал снег глубиной в пять футов, и мне ничего не оставалось, как плестись шагом по дороге. Поэтому я немало обрадовался, увидев вторую дорогу, которая отходила от главной и тянулась через еловый лес к северу. На перекрестке стояла маленькая корчма, а у дверей ее садились на лошадей дозорные Третьего Конфланского полка гусар – того самого, где я был потом полковником. На ступеньках стоял их офицер, тщедушный, бледный юноша, смахивающий больше на молодого семинариста, чем на командира этих отчаянных головорезов.

– Добрый день, сударь, – сказал он/видя, что я придержал лошадь.

– Добрый день, – ответил я ему. – Я лейтенант Этьен Жерар из Десятого гусарского.

По лицу его я понял, что он обо мне слыхал. После моей дуэли с шестью отличными фехтовальщиками имя мое стало известно всем. Однако мое простое обращение согнало с него робость.

– Я младший лейтенант Дюрок из Третьего, – представился он.

– Недавно в полку? – спросил я.

– С неделю.

Так я и думал, судя по его бледному лицу и по тому, что он позволил своим солдатам ротозейничать возле нас. Не так уж давно я сам испытал на себе, каково школьнику командовать кавалеристами-ветеранами. Помню, я заливался краской, когда мне приходилось адресовать отрывистые слова команды людям, у которых за плечами было больше сражений, чем у меня лет, мне было бы гораздо легче сказать: «С вашего позволения мы сейчас построимся» или «Если вы не возражаете, мы пойдем рысью». Поэтому я не стал осуждать юнца, заметив, что его люди немного распущены, но бросил на них такой взгляд, что они застыли в седлах.

– Позвольте спросить, мсье, куда вы направляетесь по этой северной дороге? – обратился я к молодому офицеру.

– Мне приказано нести дозор до Аренсдорфа.

– С вашего разрешения я поеду с вами, – сказал я. – Очевидно, окольным путем доедешь быстрее.

Так и оказалось, ибо эта дорога уводила от армии в места, где хозяйничали казаки и мародеры, и дорога была настолько же пустынна, насколько первая переполнена. Мы с Дюроком ехали впереди; сзади стучали копытами лошади наших шестерых солдат. Он был славный малый, этот Дюрок, хоть и напичкан всяким вздором, которому учат в СенСире, и об Александре и Помпее знал больше, чем о том, как задать корму лошади или ухаживать за конскими копытами. И все же, как я уже сказал, малый он был славный, еще не испорченный походной жизнью. Я с удовольствием слушал его болтовню о матери и сестричке Мари, живших

а Амьене. Наконец мы очутились у деревни Хайенау. Дюрок подъехал к почте и вызвал почтмейстера.

– Не скажете ли, – спросил он, – живет ли в ваших краях человек, называющий себя бароном Штраубенталем?

Почтмейстер покачал головой, и мы двинулись дальше. Я не обратил внимания на его вопрос, но когда в следующей деревне мой спутник повторил его и получил тот же ответ, я не удержался и спросил, кто такой этот барон Штраубенталь. Мальчишеская физиономия Дюрока вдруг зарделась.

– Это человек, – сказал он, – к которому у меня есть очень важное поручение. Это, конечно, мало что мне объяснило, но по его виду я понял, что дальнейшие расспросы были бы ему неприятны, и я промолчал, а Дюрок продолжал спрашивать каждого встречного крестьянина о бароне Штраубентале.

Я же, со своей стороны, старался, как и положено офицеру легкой кавалерии, составить себе представление о рельефе местности, определить направление рек и запомнить места, где должен быть брод. С каждым шагом мы удалялись от лагеря, который мы объехали кругом. Далеко на юге в морозном небе виднелись столбы серого дыма – там располагалось наше сторожевое охранение. На севере же, между нами и зимними квартирами русских, не было никого. На самом краю горизонта я дважды видел поблескивание стали и указал на это моему спутнику. Расстояние не позволяло нам определить, что именно блестело, но мы не сомневались, что это были казачьи пики. Солнце уже клонилось к западу, когда мы поднялись на небольшую горку и увидели справа деревушки, а слева – высокий темный замок, окруженный хвойным лесом. Навстречу нам ехал на телеге крестьянин – лохматый, угрюмый парень в овчинном полушубке.

– Что это за деревня? – спросил Дюрок.

– Это Аренсдорф, – Ответил тог на варварском немецком наречии.

– Значит, ночевать я должен здесь, – сказал мой юный спутник. Затем, повернувшись к крестьянину, задал ему свой неизменный вопрос: – Не знаешь ли, где живет барон Штраубенталь?

– Да вон там, в Черном замке, – сказал крестьянин, указывая на темные башенки над далеким лесом.

Дюрок слегка вскрикнул, как охотник, увидевший взлетевшую дичь. Похоже было, что малый лишился ума – глаза его засверкали, лицо покрылось смертельной бледностью, а губы скривила такая улыбка, что крестьянин невольно шарахнулся в сторону. Как сейчас вижу: юноша весь подался вперед на своем караковом коне, жадно вглядываясь в высокую темную башню.

– Почему вы называете этот замок Черным? – спросил я.

– Да так его все зовут в здешних местах, – сказал крестьянин. – Говорят, там творятся какие-то черные дела. Не зря же самый отъявленный нечестивец в Польше живет здесь уже четырнадцать лет.

– Он польский дворянин?

– Нет, у нас в Польше такие злодеи не водятся, – ответил он.

– Неужели француз? – воскликнул Дюрок.

– Говорят, он из Франции.

– А он не рыжий?

– Рыжий, как лиса.

– Да, да, это он! – воскликнул мой спутник, от волнения дрожа с головы до ног. – Меня привела сюда рука провидения! Пусть не говорят, что на земле нет справедливости. Едем, мсье

Жерар, я должен сначала определить своих солдат на постой, а потом уже заниматься собственными делами.

Он пришпорил лошадь, и через десять минут мы подъехали к дверям

арenсдорфского постоялого двора, где должны были ночевать солдаты. Но дела моего спутника меня не касались, и я даже не мог себе представить, что все это значит. До Росселя путь был не близкий, но я решил проехать еще несколько часов, а потом в какомнибудь придорожном амбаре найти ночлег для себя и Барабана. Выпив кружку вина, я вскочил на лошадь, но из гостиницы вдруг выбежал Дюрок и схватил меня за колено. – Мсье Жерар, – часто дыша, заговорил он. – Прошу вас, не бросайте меня одного!

– Дорогой Дюрок, – ответил я, – если вы мне объясните, в чем, собственно, дело и чего вы от меня хотите, то мне будет легче ответить, смогу ли я вам помочь или нет. – Да, вы мне могли бы очень помочь! – воскликнул он. – Судя по тому, что я о вас слышал, вы единственный человек, которого я хотел бы иметь рядом этой ночью. – Вы забываете, что я направляюсь в свой полк.

– Сегодня вы до него все равно не доедете. Вы будете в Росселе завтра. Останьтесь со мной, вы окажете мне огромную услугу и поможете в одном деле, которое касается моей чести и чести моей семьи. Но должен вам признаться, что дело это сопряжено с немалой опасностью.

Это был ловкий ход. Конечно, я тотчас же соскочил со спины Барабана и велел слуге отвести его в конюшню.

– Идемте в дом, – сказал я, – и вы объясните, что от меня требуется. Он провел меня в комнатку вроде гостиной и запер дверь, чтобы нам не помешали. Он был ладно скроен, этот мальчик; свет лампы освещал его серьезное лицо и очень шедший ему серебристо-серый мундир. Я глядел на него, и во мне поднималось теплое чувство к этому юнцу. Не скажу, чтобы он держался точно так, как я в его годы, но было в нас нечто схожее, и я проникся к нему симпатией.

– В двух словах всего не расскажешь, – сказал он. – Если я до сих пор не удовлетворил вашего вполне законного любопытства, то только потому, что мне очень трудно об этом говорить. Однако я, разумеется, не могу просить вашей помощи, не объяснив, в чем дело.

Должен вам сказать, что мой отец, Кристоф Дюрок, был известным банкиром; его убили во время сентябрьской резни. Как вам известно, толпа осадила тюрьмы, выбрала трех так называемых судей, чтобы устроить суд над несчастными аристократами, и тех, кого выводили на улицу, тут же раздирала в клочья. Мой отец всю жизнь оказывал помощь беднякам. У него нашлось много заступников. Он был изнурен лихорадкой, и его, полуживого, вынесли на одеяле. Двое судей склонялись к тому, чтобы оправдать его; третий же, молодой якобинец, могучий детина, который верховодил этими несчастными, стащил моего отца с носилок, стал пинать своими тяжелыми башмачищами, а потом вышвырнул за дверь, где его мгновенно растерзали на куски, но об этих ужасных подробностях мне тяжело говорить. Как видите, это было убийство даже с точки зрения их беззаконных законов, ибо двое их же собственных судей выступили в защиту моего отца. Когда снова воцарился порядок, мой старший брат стал разыскивать того человека – третьего судью. Я тогда был еще совсем мальчишкой, но это семейное дело обсуждалось в моем присутствии. Того детину звали Карабеном. Он был из гвардии Сантерра и славился как ярый дуэлянт. Когда якобинцы схватили одну даму – иностранку, баронессу Штраубенталь, – он добился ее освобождения, взяв с нее слово, что она будет принадлежать ему. Он женился на ней, присвоил ее имя и титул и после гибели Робеспьера удрал из Франции. Мы так и не смогли узнать, что с ним сталось. Вы, наверное, думаете, что, зная его имя и титул, мы легко могли бы его разыскать. Но вспомните, что революция лишила нас денег, а без денег вести поиски было невозможно. Затем настала Империя, и дело для нас осложнилось еще больше, потому что, как вам известно, император

считал, что 18 Брюмера уладило все счеты и что с этого дня над прошлым опущена завеса. Но мы не забывали нашу семейную трагедию и не отказывались от своих планов.

Брат мой вступил в армию и прошел вместе с ней всю Южную Европу, везде расспрашивая о бароне Штраубентале. Брат был убит под Йеной прошлой осенью, в октябре, так и не отомстив. Теперь настала моя очередь продолжать дело, и мне посчастливилось: через две недели после вступления в полк в одной из первых же польских деревень я нашел человека, которого мы искали столько лет. Больше того, у меня оказался спутник, имя которого в армии произносят не иначе, как в связи с какимнибудь смелым или благородным поступком. Все это прекрасно, и я слушал его с большим интересом, но все-таки мне ничуть не стало яснее, чего же хочет от меня юный Дюрок.

– Чем могу вам служить? – спросил я.

– Поедемте со мной.

– В замок?

– Именно.

– Когда?

– Немедленно.

– А что вы намерены делать?

– Там посмотрим. Но я хочу, чтобы вы были со мной. По правде сказать, не в моем характере отказываться от приключений, и, кроме того, я сочувствовал этому малому. Прощать своих врагов – это, конечно, хорошо, но желательно, чтобы и у них тоже было что прощать нам. Я протянул ему руку.

– Завтра утром я должен ехать в Россель, но сегодня я к вашим услугам, – сказал я.

Устроив солдатам удобный ночлег, мы оставили их на постоялом дворе, и так как до замка было не больше мили, мы решили не тревожить лошадей. Откровенно говоря, мне противно видеть кавалериста, идущего пешком: насколько он великолепен в седле, настолько же неуклюж, когда шагает, придерживая рукой саблю и ставя носки внутрь, чтобы колесики шпор не цеплялись друг за друга. Но мы с Дюроком были в таком возрасте, когда человека ничто не портит, и могу поклясться, что ни одна женщина не поморщилась бы при виде двух молодых гусар – одного в голубом, другого в сером, которые в тот вечер вышли из арендорфской почтовой конторы. Мы оба были при саблях, а я еще вынул пистолет из кобуры и сунул под ментик, ибо чувствовал, что нам сегодня придется жарко.

Дорога к замку шла через непроглядно темный еловый лес; мы не видели ни зги, и только звезды иногда поблескивали вверху. Вскоре, однако, лес расступился, и прямо перед нами на расстоянии выстрела из карабина показался замок. Это было огромное неуклюжее здание, судя по всему, очень древнее, с круглыми башенками на каждом углу и большой прямоугольной башней на той стороне, что была ближе к нам. Во всей этой темной массе не видно было ни огонька, кроме одного светящегося окна, и ни звука не доносилось оттуда. Мне казалось, что в этой громаде, в ее безмолвии таится что-то зловещее, чему как нельзя больше отвечало название замка. Моему спутнику не терпелось поскорее добраться до него, и я зашагал вслед за ним по плохо расчищенной дороге, которая вела к воротам.

У обитых железом ворот не было ни колокола, ни молотка, и, чтобы привлечь к себе внимание, нам пришлось колотить рукоятками сабель. Наконец ворота приоткрылись, и мы увидели тощего старика с ястребиным лицом, заросшего бородой до самых висков. В одной руке у него был фонарь, другой он придерживал рвущуюся с цепи огромную черную собаку. Он грозно взглянул на нас, но при виде наших мундиров лицо его стало замкнуто-угрюмым.

– Барон Штраубенталь в такое позднее время никого не принимает, – сказал он на отличном французском языке.

– Можете передать барону Штраубенталю, что я проехал восемьсот лиг, чтобы повидать его, и не уйду, пока не повидаю, – заявил мой спутник таким голосом и с таким выражением, что я сам не мог бы сказать лучше.

Старик искоса взглянул на нас, нерешительно теребя свою черную бороду. – Сказать по правде, господа, – произнес он, – барон уже выпил кружку-другую вина и будет для вас гораздо более интересным собеседником, если вы придете завтра утром.

Он приоткрыл ворота чуточку шире, и за его спиной в освещенном холле я увидел еще троих молодцов довольно зверского вида; один из них держал на цепи второго, такого же чудовищного пса. Дюрок, должно быть, тоже увидел их, но это нисколько не повлияло на его решимость.

– Довольно болтать, – сказал он, оттолкнув стража в сторону. – Я буду разговаривать только с твоим хозяином.

Молодцы в холле расступились, и он прошагал мимо них – так велика была власть одного человека, знающего, чего он хочет, над несколькими, не слишком уверенными в себе. Мой спутник властно, как хозяин, тронул одного из них за плечо. – Проведи меня к барону, – сказал он.

Стражник передернул плечами и ответил что-то по-польски. Никто, кроме бородатого, который уже успел прикрыть и запереть ворота, по-видимому, не говорил пофранцузски. – Хорошо, проведем, – зловеще усмехнулся он. – Вы увидите барона. И, думается мне, пожалеете, что не послушались моего совета.

Мы прошли за ним через обширный холл с каменным покрытым шкурами полом и головами диких зверей на стенах. Бородатый открыл дверь в дальнем его конце, и мы вошли.

Это была маленькая, скудно обставленная комната с теми же признаками обветшалости и запустения, которые нам встречались на каждом шагу. Вылинявшая обивка на стенах отстала в одном углу, обнажая грубую каменную кладку. В противоположной стене была вторая дверь, прикрытая драпировкой. Посредине стоял квадратный стол, заваленный грязными тарелками и жалкими остатками еды. Тут же валялось несколько пустых бутылок. Во главе стола лицом к нам сидел грузный великан с львиной головой и густой копной ярко-рыжих волос. Борода его, спутанная, всклокоченная и жесткая, как конская грива, была того же цвета. Мне приходилось на своем веку видеть странные лица, но я еще не встречал такой животной жестокости, какая была в этом лице с маленькими злыми голубыми глазами, морщинистыми щеками и толстой отвисшей нижней губой, выпяченной над уродливой бородой. Голова его склонилась на плечо, он смотрел на нас мутным, пьяным взглядом. Однако он вовсе не был сильно пьян – просто наши мундиры слишком многое ему сказали.

– Ну что, мои отважные вояки, – икнув, произнес он, – что нового в Париже? А? Я слыхал, вы собираетесь освободить Польшу, но пока что сами стали рабами – рабами маленького аристократа в сером сюртуке и треуголке. Говорят, у вас больше нет граждан – одни только господа и госпожи. Клянусь чем угодно: в одно прекрасное утро немало голов опять покатится в корзину с опилками!

Дюрок молча подошел к наглецу и стал рядом.

– Жан Карабен, – вымолвил он.

Барон вздрогнул, и взгляд его, казалось, сразу отрезвел.

– Жан Карабен, – произнес Дюрок еще раз. Барон выпрямился, вцепившись в ручки кресла.

– Что это значит? Почему вы твердите это имя, молодой человек? – спросил он. – Жан Карабен, вы тот, с кем я давно уже ищу встречи.

– Допустим, я когда-то носил это имя, но вам-то что, ведь вы тогда, наверное, были младенцем?

– Я – Дюрок.

– Неужели сын?

– Сын человека, которого вы убили. Барон деланно засмеялся, но в глазах его мелькнул страх.

– Кто прошлое помянет, тому глаз вон, молодой человек! – крикнул он. – В те дни решалось, кому из нас жить: нам или им, аристократам, или народу. Ваш отец был жирондистом. Он погиб. Я был монтаньяром. Многие из моих товарищей тоже сложили свои головы. Все зависит от того, кому как повезет на войне. Мы – вы и я – должны забыть об этом и постараться понять друг друга. – Он протянул ему руку, шевеля красными пальцами.

– Довольно! – сказал юный Дюрок. – Если б я мог разрубить вас саблей сейчас, пока вы сидите в кресле, я бы сделал благое, справедливое дело. Я опозорю свой клинок, если скрещу его с вашим. И все же вы француз и присягали тому же знамени, что и я. Вставайте же и защищайтесь!

– Тише, тише! – прикрикнул на него барон. – Брось свои аристократические замашки, дворянское отродье!..

Терпенье Дюрока лопнуло. Он размахнулся и ударил кулаком прямо в бороду. Я увидел кровь на отвислой губе и бешеную злость в маленьких голубых глазках. – За этот удар ты поплатишься жизнью!

– Вот так-то лучше, – сказал Дюрок.

– Эй, саблю! – закричал барон. – Я не заставлю вас ждать, даю вам слово! – И он бросился вон из комнаты.

Я уже говорил, что там была вторая дверь, завешанная драпировкой. Как только барон исчез, из этой двери выбежала женщина, молодая и красивая. Она двигалась так быстро и бесшумно, что через мгновение уже стояла между нами, и только по колыханию драпировки можно было догадаться, откуда она появилась.

– Я все видела! – воскликнула она. – О, мсье, вы были великолепны! – Она склонилась к руке Дюрока и стала покрывать ее поцелуями, пока тому не удалось ее выдернуть.

– Но, сударыня, почему вы целуете мне руку? – почти закричал он.

– Потому что эта рука ударила его в подлый, лживый рот. Потому что, быть может, эта рука отомстит за мою мать. Женщина, которой он разбил сердце, была моей матерью. Я ненавижу и боюсь его. Ах, вот его шаги! – Еще мгновение – и она исчезла так же внезапно, как и появилась. Вошел барон с обнаженной саблей в руках; за ним следовал человек, который открыл нам ворота.

– Это мой секретарь, – сказал барон. – Он будет моим секундантом. Но в этой комнате нам будет тесно. Соблаговолите пройти со мной в более просторное помещение. Драться в комнате, которую загромождал широкий стол, было, разумеется, невозможно. Мы вышли вслед за ним в тускло освещенный холл. На другом конце его светилась открытая дверь.

– Здесь будет гораздо удобнее, – сказал чернобородый секретарь.

Это была большая пустая комната, где вдоль стен стояли ряды ящиков и бочек. В углу на полке горела яркая лампа. Пол был ровный и гладкий – большего фехтовальщику требовать не приходилось. Дюрок вытащил саблю и вбежал в комнату. Барон посторонился и с поклоном сделал мне знак последовать за моим спутником. Едва я успел переступить порог, как дверь со стуком захлопнулась и в замке провизжал ключ. Мы оказались в ловушке.

Мы это поняли не сразу. Нам еще не приходилось сталкиваться с такой неслыханной человеческой подлостью. Затем, когда мы убедились, как глупо с нашей стороны было поверить хоть на секунду человеку с таким прошлым, нас охватил яростный гнев – гнев на

этого негодяя и на нашу собственную глупость. Мы бросились к двери и стали колотить в нее кулаками и тяжелыми сапогами. Грохот и наши проклятья, должно быть, разносились по всему замку. Мы звали этого подлеца и осыпали его всевозможными оскорблениями, которые могли задеть за живое его зачерствелую душу. Но огромная дверь – такая, какие бывают в средневековых замках, – была сделана из толстых бревен, схваченных железными скобами. Пробить ее – все равно, что пробить каре Старой гвардии. И от криков наших было столько же толку, сколько и от ударов, они только отдавались громким эхом под высоким потолком. Но солдатская служба быстро обучает терпеливо сносить то, что изменить невозможно. Я первый вновь обрел хладнокровие и убедил Дюрока вместе со мной осмотреть помещение, которое стало нашей темницей.

Тут было единственное окно, незастекленное и такое узкое, что в него еле удалось бы просунуть голову. Оно было прорезано высоко в стене; чтобы выглянуть из него, Дюроку пришлось стать на бочку.

– Что вы видите? – спросил я.

– Хвойный лес, а в нем – снежную дорогу, – сказал Дюрок. – О! – вдруг удивленно воскликнул он.

Я вспрыгнул на бочку и стал рядом с ним. Действительно, среди леса тянулась длинная снежная полоса; по ней, нахлестывая лошадь, бешеным голопом мчался всадник. Он становился все меньше и меньше, пока не исчез среди темных елей. – Что это значит? – спросил Дюрок.

– Ничего хорошего для нас, – ответил я. – Возможно, он отправился за подмогой и привезет таких же разбойников, чтобы перерезать нам горло. Давайте-ка поглядим, нельзя ли как-нибудь выбраться из этой мышеловки, пока не явилась кошка. У нас была отличная лампа – это единственное, в чем нам повезло. Она была заправлена почти доверху и могла светить до самого утра. В темноте наше положение было бы куда хуже. При ее свете мы принялись осматривать лежавшие вдоль стен ящики и тюки. Кое-где они лежали в один ряд, в углу же были навалены кучей почти до потолка. По-видимому, мы оказались в кладовой замка: здесь было множество сыров, разных овощей, ящиков с сушеными фруктами и ряды винных бочек. Одна из них была с краном, и так как я весь день почти ничего не ел, то с удовольствием подкрепился кружкой кларета и кое-чем из съестного. Что касается Дюрока, то он не стал есть и, пылая гневом и нетерпением, шагал взад и вперед.

– Я еще поквитаюсь с ним! – время от времени восклицал он. – Этот подлец от меня не уйдет!

Все это прекрасно, размышлял я, сидя на большом круглом сыре и уплетая свой ужин, но мой птенец, кажется, чересчур много думает о своих семейных делах и ни капельки о том, как выбраться из переделки, в которую я попал по его милости. В конце концов уже четырнадцать лет, как его отца нет на свете, а Этьену Жерару, самому отважному лейтенанту Великой армии, грозит опасность пасть с перерезанным горлом в начале его блестящей карьеры. Как знать, до каких высот я могу подняться, если не отправлюсь на тот свет из-за этой тайной авантюры, которая ничуть не касается ни Франции, ни императора? Надо же быть таким остолопом, костерил я себя, впереди у меня славная кампания и все, что только может пожелать человек, а я ввязался в эту дурацкую затею! Мало мне сражаться против четверти миллиона русских, нет, нужно еще влезать во всякие семейные распри!

– Ну хорошо, – перебил я наконец бормочущего угрозы Дюрока. – Можете делать с ним, что хотите, когда он будет у вас в руках. Но сейчас вопрос в том, что он хочет сделать с нами?

– Да хоть самое худшее! – воскликнул юнец. – Я в долгу перед своим отцом. – Чистейшая глупость, – откликнулся я. – Если вы в долгу перед отцом, то я в долгу перед своей матерью, и этот долг повелевает мне выйти отсюда живым и невредимым. Мои слова немного отрезвили его.

– Простите меня, мсье Жерар! – воскликнул он. – Я думаю только о себе! Посоветуйте же, что делать.

– Ну что ж, – сказал я. Они нас заперли среди сыров вовсе не для сохранения нашего здоровья. Они жаждут покончить снами. Это ясно. Они рассчитывают, что никто не знает, что мы здесь, и никто не станет нас искать, если мы отсюда не выйдем. Ваши гусары знают, куда вы пошли?

– Я им ничего не сказал.

– Хм! Несомненно одно: с голоду мы здесь не умрем. Если они замыслили убить нас, они должны войти сюда. За баррикадой из бочек мы сможем продержаться против тех пяти негодяев, что мы видели. Потому-то, наверное, они и послали гонца за подмогой.

– Мы должны выйти отсюда до его возвращения.

– Совершенно верно, если только сможем выйти вообще.

– А нельзя ли подожечь дверь? – воскликнул он.

– Ну, это легче легкого, – сказал я. – Там, в углу, несколько бочек растительного масла. Единственное, что мне не нравится, это что мы сами поджаримся, как две бараньих котлетки.

– Неужели вы не можете ничего придумать? – в отчаянии крикнул он. – Стойте, что это?

За нашим маленьким окошком послышался легкий шум, и звезды заслонила чья-то тень. В свете лампы мы увидели протянутую белую ручку. В пальцах ее что-то блестело. – Скорей, скорей! – послышался женский голос.

Мы мгновенно вскочили на бочку.

– Они послали за казаками. Ваша жизнь под угрозой. О, я погибла, я погибла! Мы услышали тяжелый топот, хриплое ругательство, звук удара – и звезды снова засияли в окошке. Похолодев от ужаса, мы беспомощно стояли на бочке. Через полминуты донесся сдавленный, вдруг оборвавшийся крик. Где-то в ночной тишине хлопнула тяжелая дверь.

– Эти разбойники схватили ее! Они ее убьют! – крикнул я.

Дюрок спрыгнул с бочки, издавая несвязные крики, словно умалишенный, и принялся так неистово колотить в дверь рукой, что после каждого удара оставались кровяные пятна.

– Вот ключ! – крикнул я, поднимая валявшийся на полу ключ. – Должно быть, она бросила его в последнюю секунду, когда ее оттаскивали от окна!

Мой спутник вырвал его у меня с криком радости. Через мгновение он сунул его куда-то в бревна. Ключ был так мал, что совсем ушел в громадную скважину. Дюрок опустился на ящик, стиснул руками голову и зарыдал от отчаяния. Я тоже готов был зарыдать при мысли о бедной женщине и о том, что мы бессильны ее спасти. Но меня не так-то легко обескуражить. В конце концов ключ был передан нам с какой-то целью. Дама не могла принести ключ от двери, потому, что это чудовище, ее отчим, вернее всего держит его у себя в кармане. Однако и этот ключик для чего-то предназначен, иначе зачем бы она рисковала жизнью? Плохи же наши головы, если мы не додумаемся, для чего он.

Я стал отодвигать от стены все ящики, а Дюрок, в которого мое мужество опять вселило надежду, помогал мне изо всех сил. Дело оказалось нелегким, ибо ящики были большие и тяжелые. Мы трудились как одержимые, оттаскивая бочки, сыры и ящики на середину кладовой. Наконец осталась одна огромная бочка водки, которая стояла в углу. Общими силами мы с Дюроком откатили ее в сторону и увидели в деревянной обшивке стены небольшую низенькую дверь. Ключ легко повернулся в замке, и мы с восторженными восклицаниями распахнули ее. Держа в руке лампу, я протиснулся в нее первый; мой спутник последовал за мной.

Мы очутились в пороховом складе замка, в каменном подвале без окон, с закупоренными бочками по стенам и одной открытой посредине. Возле нее на полу лежала черная куча пороха. Напротив была еще одна дверца, но она оказалась запертой. – Мы ничего не выиграли! – воскликнул Дюрок. – Второго ключа у нас нет! – У нас их целый десяток! – возразил я.

– Где?

Я указал на ряд пороховых бочек.

– Вы хотите взорвать эту дверцу?

– Именно.

– Но ведь взорвется весь погреб.

Это было справедливо, но моя изобретательность еще не иссякла.

– Мы взорвем дверь кладовой, – сказал я.

Побежав обратно, я схватил железный ящик, в котором лежали свечи; он был величиной с мой гусарский кивер, стало быть, вмещалось в него несколько фунтов пороха. Дюрок наполнил его, пока я состругивал воск с фитиля свечи. Наконец все было готово – и лучшей петарды не сделал бы даже самый умелый механик. Я поставил три круга сыра один на другой и водрузил на них железный ящик так, чтобы он приходился прямо против дверного замка. Затем мы зажгли кусочек свечи и убежали в пороховой склад, захлопнув за собою дверь.

Это не шутка, друзья мои, сидеть среди тонн пороха, зная, что если пламя взрыва пробьется сквозь тонкую дверь, то наши обугленные останки взлетят выше замковой башни. Вот уж не думал, что полдюйма свечки могут гореть так долго! Напрягая слух, я все время старался уловить, не раздастся ли топот казачьих лошадей, несущий нам гибель. Я уже решил было, что свечка потухла, как вдруг в кладовой громко ухнуло, словно взорвалась бомба, наша дверь разлетелась в щепки, и на нас градом посыпались кусочки сыра, репы, яблок и щепки от ящиков. Мы выбежали в кладовую, спотыкаясь в густом дыму об обломки, усеявшие пол, но там, где была темная дверь, тускло светился четырехугольный проем.

Наша петарда сделала свое дело.

В сущности, она сделала для нас больше, чем мы могли надеяться. Она уничтожила не только тюрьму, но и тюремщиков. Выйдя в зал, я прежде всего увидел человека с огромным топором в руках, распростертого на полу; на лбу его зияла рана. Потом я увидел корчившуюся на полу в агонии громадную собаку с двумя перебитыми лапами; она поднялась, волоча их, как цепи. В ту же секунду я услышал крик – вторая собака, прижав Дюрока к стене, вцепилась ему в горло. Он пытался оторвать ее от себя левой рукой, а правой наносил ей удары саблей, и все же только когда я размозжил ей череп пистолетом, железные челюсти разжались, и свирепые, налитые кровью глаза мертвенно остекленели.

У нас не было времени отдышаться. Где-то впереди раздался женский крик – крик смертельного ужаса, – и мы поняли, что нельзя медлить ни секунды. В зале было еще двое людей, но, увидев наши обнаженные сабли и разъяренные лица, они, трясясь от страха, бросились прочь. У Дюрока из раны на шее текла кровь, окрашивая серый ментик, но малый, не помня себя, ринулся вперед, и, когда мы ворвались в комнату, где впервые встретились с хозяином Черного замка, я только из-за его спины увидел, что там происходит.

Барон стоял посреди комнаты, его спутанная грива встала дыбом, как у разъяренного льва. Я уже говорил, что это был человек огромного роста, очень широкий в плечах, и, когда я увидел его пылающее от ярости лицо и вытянутую вперед саблю, у меня мелькнула мысль, что, несмотря на всю его подлость, из него вышел бы отличный гренадер. Молодая дама, съежившись от страха, забилась в угол. Рубец на ее белой руке и хлыст, валявшийся на полу, говорили о том, что мы вырвались из ловушки чуть позднее, чем следовало, и не успели защитить ее от этого зверя. Он зарычал, как волк, и мгновенно бросился на нас, рубя и колотя саблей плашмя, сопровождая проклятиями каждый выпад.

Комната, как я уже говорил, была слишком тесна для фехтования. Мой юный спутник оказался впереди меня в узком проходе между столом и стеной, и я мог только наблюдать, не имея возможности помочь ему. Малый умел обращаться с клинком и был свиреп и увертлив, как дикая кошка, но в этом тесном пространстве преимущество было на стороне грузного гиганта. Кроме того, он был превосходным фехтовальщиком. Он делал выпады и отражал удары с быстротой молнии. Дважды он задел плечо Дюрока, и, когда юноша упал от толчка, он занес над ним саблю, чтобы прикончить, не дав ему подняться на ноги. Я, однако, опередил его, и удар пришелся по эфесу моей сабли. – Прошу прощения, – сказал я, – вам все же придется иметь дело с Этьеном Жераром.

Барон отпрянул и прислонился к обитой гобеленом стене, дыша хрипло и часто, – сказывался его нечистый образ жизни.

– Отдышитесь, – сказал я. – Я подожду, пока вы придете в себя.

– У вас нет причин враждовать со мной, – задыхаясь, произнес барон. – У меня к вам есть счетик, – ответил я, – за то, что вы заперли меня в кладовой. А если этого мало, то вот еще одна причина – рука этой дамы.

– Ну так защищайтесь! – взревел он и бросился на меня, как безумный. С минуту я видел только сверкающие голубые глазки и сверкающий конец окровавленной сабли, который наносил мне царапины то справа, то слева, но целился неизменно в горло и грудь. Я не знал, что в Париже во времена революции были такие замечательные фехтовальщики. Каких со мной не было приключений, но я вряд ли встретил и шесть человек, которые бы так искусно владели оружием. Но барон понимал, что со мной ему не справиться. Он прочел свой смертный приговор в моих глазах – я видел это по нему. Краска схлынула с его лица, дыхание стало чаще и тяжелее. Все-таки он не сложил оружия, даже когда получил смертельный удар, и умер, стараясь достать меня саблей, с грязным ругательством на губах и запекшейся на оранжевой бороде кровью. Я, тот, кто вам рассказывает это, видел много сражений, и моя старая память не удержала все их названия, но мои глаза не видели более страшного зрелища, чем эта оранжевая борода с багровым пятном посредине, которое оставил мой клинок. Едва только его грузное тело рухнуло на пол, как женщина в углу вскочила на ноги, захлопала в ладоши и закричала от радости. Мне, признаться, было неприятно видеть, что женщина так радуется кровавому убийству, я не подумал о том, сколько же она натерпелась, если могла позабыть женскую мягкость. Я уже хотел было приказать, чтобы она замолчала, но вдруг странный, удушливый дым забил мне ноздри, и фигуры на драпировках осветились желтым светом.

– Дюрок, Дюрок! – крикнул я, теребя его за плечо. – Замок горит!

Израненный юноша лежал на полу без чувств. Я выбежал в зал, чтобы определить, где возник пожар. Оказалось, что от нашего взрыва загорелось сухое дерево дверных наличников. В кладовой уже пылали ящики. Я заглянул туда, и во мне застыла кровь при виде пороховых бочек в соседнем помещении и кучки пороха на полу. Еще несколько минут или даже секунд – и огонь подберется к ним. Вот эти самые глаза, друзья мои, до самой смерти будут видеть перед собой ползущие змейки огня и черную кучу пороха. Я плохо помню, что было дальше. Смутно припоминаю, как я бросился в комнату смерти, как схватил Дюрока за безжизненную руку, женщина схватила его за другую, и мы бросились вон. Выбежали из ворот и устремились по снежной дороге к опушке леса. Едва мы добежали до первых деревьев, как я услышал позади грохот и, оглянувшись, увидел столб огня, взвившийся в зимнее небо. Еще секунда – и раздался второй взрыв, еще более громкий, чем первый. Ели, звезды – все завертелось у меня в глазах, и я упал без чувств рядом с своим товарищем.

2. КАК БРИГАДИР ПЕРЕБИЛ БРАТЬЕВ ИЗ АЯЧЧО

Когда императору требовалось доверенное лицо для услуг, он оказывал мне честь, вспоминая имя Этьена Жерара, хотя это имя частенько выпадало у него из памяти при распределении наград. Но все же я в двадцать восемь лет был полковником, а в тридцать один

год – бригадиром, так что у меня нет причин обижаться на него. Если б война продлилась еще два-три года, я наверняка бы получил маршальский жезл, а там уже всего один шаг до трона. Сменил же Мюрат гусарский кивер на корону, отчего же другому отважному кавалеристу не сделать того же? Но все эти мечты разбило в прах Ватерлоо, и, хотя мне не удалось вписать свое имя в историю, все-таки оно достаточно известно всем, кто сражался в великих войнах империи.

Сегодня я расскажу вам об одном весьма любопытном деле, с которого и началось мое быстрое продвижение по службе и которое связало меня с императором тайными узами.

Но сначала я хочу кое о чем вас предупредить. Слушая мои рассказы, вы должны помнить, что перед вами человек, который видел историю, так сказать, изнутри. Я рассказываю о том, что видел своими глазами и слышал своими ушами, так что вы не пытайтесь возражать мне, ссылаясь на какого-нибудь ученого или там писателя, написавших исторические исследования или мемуары. Есть много такого, чего не знают, эти люди и никогда не узнает мир. Я бы мог порассказать поразительнейшие вещи, но только это было бы, с моей стороны, нескромно. То, что вы сегодня от меня услышите, я держал в тайне, пока был жив император, потому что дал ему слово молчать, но теперь, думается, никому не будет вреда от того, что я расскажу о той выдающейся роли, которую мне пришлось тогда сыграть.

Надо вам сказать, что во время Тильзитского мира я был самым обыкновенным лейтенантом Десятого гусарского полка, небогатым и незнатным. Правда, наружность и отвага располагали ко мне людей, и я уже заслужил славу одного из лучших фехтовальщиков в армии, но среди сонмища храбрецов, окружавших императора, это считалось недостаточным, чтобы обеспечить быстрое продвижение по службе. Тем не менее я был уверен, что придет и мой день, хотя мне и не снилось, что это будет так скоро.

В 1807 году, когда император вернулся в Париж после заключения мира, он проводил много времени с императрицей в Фонтенбло. Он находился тогда на самой вершине своей славы. Проведя одну за другой три кампании, он усмирил Австрию, сокрушил Пруссию и заставил русских радоваться, что они добрались до правого берега Немана. Старый бульдог по ту сторону Ла-Манша еще рычал, но не мог уйти далеко от своей конуры. Если бы нам удалось установить в то время постоянный мир, Франция была бы сильнее всех других государств на свете со времен Римской империи, так говорили умные люди; я-то в те дни думал совсем о других вещах. Женщины обрадовались возвращению армии после столь долгого отсутствия, и уж, поверьте, я сполна получил свою долю милостей. Судите сами, как меня баловали в те времена, если даже сейчас, когда мне стукнуло шестьдесят… впрочем, зачем распространяться о том, что и так хорошо известно?

Наш гусарский полк квартировал в Фонтенбло вместе с конными егерями гвардии. Фонтенбло, как вам известно, маленький городок, затерявшийся среди густых лесов, и как-то диковинно было видеть в нем толпы разных великих князей, и курфюрстов, и принцев, которые осаждали императора, как собачонки – хозяина в надежде, что им перепадет кость. На улице чаще слышался немецкий говор, чем французский, ибо те, кто помогал нам в последней войне, явились выпрашивать награды, а те, которые сражались против нас, приехали, чтобы замолить грехи и отвести от себя кару.

А наш маленький человечек с бледным лицом и холодными серыми глазами каждое утро ездил на охоту, молчаливый и задумчивый, и все остальные тянулись за ним хвостом, надеясь, что он бросит им хоть слово. А потом, если на него находил такой стих, он кидал сотню квадратных миль одному или отнимал столько же у другого, окружал одно королевство рекой или огораживал другое цепью гор. Вот таким манером он вершил дела, этот маленький артиллерист, которого мы своими саблями и штыками вознесли на такую высоту. Он всегда был с нами очень учтив – он знал, кому он обязан силой. Мы тоже знали и всячески показывали это своим поведением. Мы, конечно, признавали, что он лучший полководец в мире, но при этом помнили, что ведет он лучших в мире солдат. Так вот, сижу я однажды дома и играю в

карты с Моратом из конно-егерского, как вдруг открывается дверь и входит Лассаль, наш полковник. Вы помните, какой это был красавчик и щеголь, и небесно-голубой мундир Десятого полка шел ему необыкновенно. Клянусь честью, мы, молодые солдаты, были так им покорены, что хотелось нам того или нет, но все мы ругались, чертыхались, пили и играли в кости, лишь бы походить на нашего полковника! Мы как-то не думали о том, что не из-за выпивок и игры в кости император собирался назначить его командующим легкой кавалерией, а потому, что во всей армии у него был самый верный глаз, когда дело касалось определения характера позиции или силы вражеской колонны, и он мог лучше всех судить, когда можно прорвать пехоту или где обнажена артиллерия. По молодости лет мы всего этого не понимали, и фабрили усы, бряцали шпорами и стирали наконечники сабельных ножен, волоча их по булыжным мостовым в надежде, что все мы станем Лассалями. Когда он, гремя шпорами и саблей, вошел в мою квартиру, мы с Моратом вскочили на ноги.

– Малыш, – сказал он, похлопав меня по плечу, – тебя желает видеть император сегодня в четыре часа.

От этих слов комната пошла ходуном перед моими глазами, и мне пришлось ухватиться за край ломберного стола.

– Что?! – воскликнул я. – Император?

– Именно, – сказал он, улыбаясь моему изумлению.

– Но ведь император не знает о моем существовании, полковник, – возразил я. – Как он может послать за мной?

– Это меня тоже удивляет, – ответил Лассаль, покручивая ус. – Если ему понадобился храбрый рубака, зачем снисходить до одного из моих лейтенантов, когда у него есть полковники? Однако, – добавил он, еще раз хлопнув меня по плечу со свойственной ему веселой простотой, – у каждого в жизни есть свой счастливый случай. У меня уже был, иначе я бы не стал командиром Десятого гусарского. Вперед, мой мальчик, и пусть это будет первым шагом к тому, чтобы сменить кивер на треуголку! Было два часа, и он ушел, пообещав зайти попозже и проводить меня во дворец. Клянусь честью, не знаю, как я протянул это время! Какие только догадки не приходили мне в голову, зачем я понадобился императору! Я шагал взад и вперед по своей тесной комнатушке, горя от нетерпения. Иногда мне думалось, что он, вероятно, слыхал о пушках, которые мы захватили при Аустерлице; но ведь многие захватывали пушки при Аустерлице, и с тех пор прошло уже два года. Или, может, он хочет наградить меня за историю с адъютантом русского императора. Но тут я похолодел: а что, если он послал за мной, чтобы задать мне взбучку? К некоторым дуэлям он мог отнестись неблагосклонно, а в Париже со времени мира было два-три славных дельца.

Но нет! Я вспомнил слова Лассаля. «Если ему понадобился храбрый рубака…» – сказал он.

Очевидно, мой полковник чуял, чем дело пахнет. Должно быть, он знал, что меня ждет какое-то лестное поручение, иначе у него не хватило бы жестокости поздравлять меня. Сердце мое запрыгало от радости; я сел за письмо к матушке и написал ей, что в эту самую минуту меня ждет император, чтобы посоветоваться со мной об одном важном деле. И я улыбнулся: ведь это событие, казавшееся мне чудом, для моей матушки послужит еще одним доказательством того, что у императора есть здравый смысл. В половине четвертого я услышал лязгающий стук сабли о деревянные ступеньки моей лестницы. Это был Лассаль, а вместе с ним пришел какой-то хромой господин в строгой черной одежде с нарядным кружевным воротником и манжетами. Мы, военные, редко встречаемся со штатскими, но, клянусь богом, этот был не из тех, на кого можно не обращать внимания. Как только я увидел эти мигающие глаза, комичный вздернутый нос и прямой, резко очерченный рот, я понял, что стою перед единственным человеком во Франции, с которым считается сам император.

– Мсье де Талейран, это мсье Этьен Жерар, – сказал Лассаль.

Я отдал честь, и государственный муж окинул меня от плюмажа на кивере до колесиков моих шпор взглядом, царапнувшим меня, как острие рапиры.

– Вы уже объяснили лейтенанту, зачем его вызывает император? – спросил он резким, скрипучим голосом.

Эти двое представляли собою такой контраст, что я невольно переводил взгляд с одного на другого – черный, хитрый политик и рослый небесно-голубой гусар, который одной рукой упирался в бедро, другую положил на эфес сабли. Каждый сел на стул – Талейран бесшумно, Лассаль – со стуком и звоном, как боевой конь на скаку. – Дело вот в чем, юноша, – сказал он со своей обычной грубоватостью. – Нынче утром я был у императора в его личном кабинете, когда ему принесли письмо. Он вскрыл его и вдруг так вздрогнул, что письмо полетело на пол. Я поднял его и передал императору, но он застывшим взглядом уставился в стену, словно увидел привидение. «Fratelli dell` Ajaccio », – пробормотал он, и снова: «Fratelli dell` Ajaccio». Итальянский я знаю ровно настолько, насколько можно выучиться за две кампании, поэтому я ничего не понял. Мне показалось, что он лишился рассудка; вы тоже так подумали бы, мсье Талейран, если бы видели его глаза. Прочтя письмо, он не меньше получаса сидел, не шевелясь.

– А вы? – спросил Талейран.

– А я стоял, не зная, что делать. Наконец он, по-видимому, пришел в себя. – Я полагаю, Лассаль, – сказал он, – что в вашем полку есть отважные молодые офицеры!

– Безусловно, ваше величество, – ответил я.

– Если бы вам понадобился такой, на которого можно положиться в важном деле, но который не стал бы зазнаваться, – вы понимаете меня, Лассаль, – то кого бы вы выбрали?

Я понял, что ему нужно доверенное лицо, которое не слишком совало бы нос в его дела.

– Есть у меня один такой, – сказал я, – сплошные шпоры и усы и ни одной мысли, кроме как о женщинах и лошадях.

– Такой мне и нужен, – сказал Наполеон. – Приведите его сюда ко мне в четыре часа. Так что, юноша, я отправился прямо к вам и думаю, что вы не посрамите чести Десятого гусарского.

Я, конечно, был безмерно польщен, узнав, какие причины заставили моего полковника выбрать именно меня, и это, должно быть, отразилось на моем лице, потому что он громко захохотал, и даже Талейран издал короткий смешок.

– Один совет, прежде чем вы пойдете к императору, мсье Жерар, – сказал он. – Вы пускаетесь в плаванье по бурным водам, и, быть может, вам попадется худший лоцман, чем я. Мы не имеем никакого представления о том, что это за дело, а если говорить откровенно, нам, несущим на своих плечах ответственность за судьбу Франции, чрезвычайно важно быть в курсе всех событий. Вы понимаете меня, мсье Жерар? Честно говоря, я и понятия не имел, куда от метит, но поклонился и сделал вид, будто мне все ясно.

– Действуйте очень осторожно и никому ничего не говорите, – сказал Талейран. – Ни я, ни полковник Лассаль не станем показываться с вами на людях, мы будем ждать вас здесь, и, когда вы расскажете, о чем вы говорили с императором, мы посоветуем вам, что делать. А сейчас вам пора идти, император не прощает неаккуратности. Я отправился во дворец пешком – до него была какая-нибудь сотня шагов. Меня провели в приемную, где среди толпы ожидающих суетился Дюрок в великолепном малиновом с золотом мундире. Я слышал, как он шепнул мсье де Коленкуру, что половина присутствующих – немецкие герцоги, которые надеются, что их сделают королями, а другая половина – немецкие герцоги, которые боятся, что их сделают нищими. Услышав мое имя, Дюрок тотчас же провел меня в кабинет, и я предстал перед императором.

Я, конечно, видел его в походах сотни раз, но никогда не стоял лицом к лицу с ним. Ручаюсь, если бы вам случилось встретить его, не зная, кто он такой, вы бы увидели просто бледного, приземистого человечка с высоким лбом и хорошо развитыми икрами, в коротких узких штанах из белого кашемира и белых чулках, выгодно подчеркивающих форму его ног. Но, даже не зная его, вы были бы поражены его особенным взглядом, который бывал таким суровым, что мог повергнуть в трепет даже гренадера. Говорят, будто сам Ожеро, человек, не знавший, что такое страх, робел под взглядом Наполеона еще в те времена, когда император был безвестным солдатом. На меня он, впрочем, взглянул довольно милостиво и знаком велел мне остановиться у двери. Де Меневаль писал что-то под его диктовку, после каждой фразы вскидывая на него преданные, как у верного пса, глаза.

– Довольно, Меневаль. Можете идти, – отрывисто произнес император. Секретарь вышел, а он, заложив руки за спину, подошел и молча оглядел меня с головы до ног. Этот маленький человек любил окружать себя рослыми красавцами, и думаю, что моя наружность ему понравилась. Я поднял руку, отдавая честь, другую же руку держал на эфесе сабли и глядел прямо перед собой, как положено солдату.

– Итак, мсье Жерар, – сказал он наконец, постучав указательным пальцем по брандебуру из золотого шнура на моем ментике, – мне известно, что вы достойнейший молодой офицер. Ваш полковник отзывается о вас превосходно.

Я пытался найти какой-нибудь блистательный ответ, но как на грех ничего мне не приходило на ум, кроме слов Лассаля о том, что я сплошные усы да шпоры, и в конце концов я промолчал. Должно быть, эта борьба отражалась на моем лице, так как император не сводил с меня пристального взгляда и, не дождавшись ответа, не выразил никакого недовольства.

– По-видимому, вы именно тот, кто мне нужен, – сказал он. – Меня со всех сторон окружают умные храбрецы. Но храбрец, который к тому же… – Он не докончил, а я так и не понял, что он хотел сказать. Пришлось ограничиться заверением, что он может располагать мною до самой моей смерти.

– Насколько мне известно, вы хорошо владеете саблей, – сказал он.

– Сносно, ваше величество.

– Ваш полк выбрал вас для состязания с лучшим фехтовальщиком шамбарантских гусар?

Оказывается, он был наслышан о моих подвигах! Что ж, это меня нисколько не огорчило.

– Да, мои товарищи оказали мне эту честь, ваше величество, – ответил я. – И, чтобы поупражняться, вы за неделю до дуэли оскорбили одного за другим шестерых мастеров фехтования?

– Мне было дано разрешение отлучиться из полка семь раз за столько же дней, ваше величество.

– И вы не получили ни царапины?

– Мастер фехтования Двадцать третьего полка задел мне левый локоть, ваше величество.

– Прекратите эти детские забавы, мсье! – крикнул он, внезапно охваченный холодной яростью, в которой он бывал страшен. – Вы вообразили, что я даю эти звания моим ветеранам для того, чтобы вы могли отрабатывать на них свои четвертые и третьи позиции? Хорошо же я буду выглядеть перед Европой, если мои солдаты станут обращать свои клинки друг против друга! Если я еще раз услышу, что вы дрались на дуэли, я раздавлю вас вот этими пальцами!

Перед глазами моими замелькала белая, пухлая рука, грозный рык срывался на свистящее шипенье. Честное слово, по коже у меня поползли мурашки. Сейчас я охотно поменялся бы местами с солдатом, что первый идет в атаку по самому крутому и узкому ущелью. Император повернулся к столу, выпил чашку кофе, и, когда он снова обратился ко мне, от страшной бури не осталось и следа, и я увидел эту странную улыбку, которая появлялась только на губах, но не в глазах.

– Я нуждаюсь в ваших услугах, мсье Жерар, – сказал он. – Вероятно, для меня будет безопаснее, если рядом будет человек, хорошо владеющий саблей, и по некоторым причинам я выбрал вас. Но прежде всего вы дадите мне слово держать все это в тайне. Пока я жив, ни одна живая душа, кроме нас с вами, не должна знать, о чем мы сегодня говорили.

Я подумал о Талейране и Лассале, но дал слово молчать.

– Затем, я не нуждаюсь ни в вашем мнении, ни в ваших умозаключениях; вы должны делать только то, что вам велят.

Я поклонился.

– Мне нужна ваша сабля, а не ваша голова. Думать буду я сам. Вы поняли? – Да, ваше величество.

– Вы знаете Канцлерскую рощу в лесу Фонтенбло? Я кивнул.

– Знаете высокую раздвоенную сосну, у которой во вторник собирали охотничьих собак?

Если б ему было известно, что под этой сосной я трижды в неделю встречаюсь с одной девицей, он не стал бы меня спрашивать. Я ничего не ответил и опять только кивнул.

– Прекрасно. Ждите меня там сегодня в десять часов вечера.

Я уже перестал удивляться чему бы то ни было. Если бы он предложил мне сесть вместо него на императорский трон, я бы только склонил свой кивер.

– Потом мы вместе пойдем в лес, – продолжал император. – Пусть при вас будет только сабля, пистолетов не надо. Не обращайтесь ко мне, и я с вами тоже не буду разговаривать. Мы будем идти молча. Вы поняли?

– Понял, ваше величество.

– Немного погодя под известным мне деревом мы увидим человека, скорее даже двоих. Мы подойдем к ним вместе. Если я сделаю вам знак защищать меня, вы обнажите вашу саблю. Но если я начну разговаривать с этими людьми, вы должны ждать и наблюдать за происходящим. Коль скоро вам придется драться, то пусть даже их будет двое, ни один не должен уйти живым. Я буду вам помогать.

– Ваше величество! – воскликнул я. – Я не сомневаюсь, что моя сабля справится и с двумя, но не лучше ли мне прихватить с собой товарища, чтобы вам не пришлось драться самому?

– Чепуха, – сказал он, – Я был солдатом до того, как стал императором. Неужели вы думаете, что только гусары владеют саблей, а артиллеристы нет? Но я ведь приказал вам не возражать. Вы будете делать только то, что я вам скажу. Если придется обнажить сабли, никто из этих людей не должен уйти живым.

– Не уйдут, ваше величество, – сказал я.

– Прекрасно. Больше распоряжений не будет. Можете идти.

Я повернулся к двери, но вдруг меня осенила одна мысль.

Я опять обернулся.

– Ваше величество, я думаю вот что… – начал я.

Он бросился ко мне, разъяренный, как дикий зверь. Мне казалось, что он меня ударит.

– Вы думаете! – закричал он. – Вы! Вы воображаете, что я выбрал вас потому, что вы умеете думать? Посмейте-ка сказать мне это еще раз! Вы единственный человек, который… впрочем, довольно! Ждите меня у сосны в десять часов!

Клянусь честью, я не помню, как выбрался из кабинета. Когда подо мной добрый скакун и сабля моя звякает о стремя, – тогда я силен. И всему, что касается фуража – сена или овса, ржи и ячменя – и командования эскадронами на марше, я могу поучить кого угодно. Но когда я встречаюсь с каким-нибудь камергером, маршалом или самим императором и вижу, что все говорят обиняком, вместо того чтобы выложить все начистоту, – тут я чувствую себя как кавалерийская лошадь, запряженная в дамскую коляску. От всякого жеманства и притворства

меня просто мутит. Я научился благородным манерам, но не манерам придворного. Поэтому я не чаял, как вырваться на свежий воздух, и побежал к себе домой, как школьник, улепетывающий от строгого учителя.

Но едва я распахнул дверь, как глазам моим представилась пара длинных небесноголубых ног в гусарских сапогах и пара коротких и черных, в панталонах до колен и башмаках с пряжками. Обе пары ног бросились мне навстречу.

– Ну что? Что вы узнали? – воскликнули оба моих гостя.

– Ничего, – ответил я.

– Император вас не принял?

– Принял; мы с ним виделись.

– И что он вам сказал?

– Мсье Талейран, – ответил я, – к моему глубокому сожалению, я ничего не могу вам рассказать. Я дал слово императору.

– Полно, полно, дорогой мой юноша, – сказал он, подходя ко мне боком, точь-вточь как кошка, которая хочет потереться о ваши ноги. – Все останется между друзьями и дальше этих стен не пойдет. Кроме того, беря с вас слово, император, конечно, не имел в виду меня.

– До дворца всего минута ходу, мсье Талейран, – ответил я. Я попрошу вас сделать несколько шагов, если это вас не затруднит, и принести сюда письменное свидетельство императора, что, беря с меня слово, он не имел в виду вас. И тогда я буду счастлив передать вам наш разговор слово в слово.

Он ощерился на меня, как старая лисица.

– Кажется, мсье Жерар немножко возомнил о себе, – сказал он. – Мсье Жерар слишком молод, чтобы понимать истинное соотношение вещей. Став постарше, он, вероятно, поймет, что со стороны младшего кавалерийского офицера неблагоразумно быть столь несговорчивым.

Я не знал, что ответить, но тут Лассаль вступился за меня со своей обычной прямотой.

– Малый совершенно прав, – заявил он. – Знай я, что он связан словом, я бы и не подумал расспрашивать его. Вы отлично знаете, мсье де Талейран, что если бы он вам все рассказал, вы посмеялись бы над ним в душе, а потом подумали бы о нем не больше, чем я о пустой бутылке из-под бургундского. Что до меня, то даю слово: если я узнаю, что он выдал тайну императора, в Десятом полку для него не будет больше места, и мы лишимся нашего лучшего фехтовальщика.

Но государственный муж, видя, что полковник на моей стороне, обозлился еще больше.

– Я слыхал, полковник де Лассаль, – сказал он с ледяной надменностью, – что ваши суждения о легкой кавалерии ценятся очень высоко. Если мне понадобятся сведения об этом роде войск, я не премину обратиться к вам. Но сейчас дело касается дипломатии, и, надеюсь, вы разрешите мне иметь свое мнение по этому вопросу. Покуда благополучие Франции и личная безопасность императора вверены главным образом моему попечению, я буду использовать все средства, чтобы обеспечить и то и другое, невзирая даже на прихоти императора. Имею честь откланяться, полковник де Лассаль. Бросив в мою сторону весьма недружелюбный взгляд, он повернулся на каблуке и мелкими бесшумными шажками быстро вышел из комнаты.

По лицу Лассаля я понял, что ему не улыбается перспектива вражды с могущественным министром. У него сорвалось крепкое словцо; затем, схватив кивер и поддерживая рукой саблю, он с грохотом сбежал по лестнице. Выглянув в окно, я увидел, что две фигуры – высокая голубая и прихрамывающая черная – шагают по улице рядом. Вид у Талейрана был замороженный, а Лассаль размахивал руками и что-то говорил, – очевидно, пытался помириться. Император велел мне не думать, и я старался выполнить его приказ. Я взял карты, которые Морат оставил на столе, и стал играть в экарте за двоих. Но я никак не мог вспомнить,

какая масть была козырной, и, отчаявшись, швырнул карты под стол. Затем я вытащил саблю и поупражнялся в колющих ударах, пока не устал, но ничего не помогало! Мысль моя работала, несмотря на все старания. В десять часов я должен встретиться с императором в лесу. Из всех невероятных событий, какие случаются на свете, только это не могло бы мне прийти в голову нынче утром, когда я вставал с кровати. Но ответственность – какая страшная ответственность легла на мои плечи! И разделить ее со мной некому. Думая об этом, я весь холодел. Сколько раз я глядел в глаза смерти на полях сражений, но только сейчас узнал, что такое настоящий страх. Но затем я рассудил, что мне ничего не остается делать, как показать себя отважным и достойным солдатом, а пуще всего – строжайше повиноваться полученным приказам. И если все сойдет благополучно, это будет начало блестящей карьеры. Так, переходя от страха к надеждам, я кое-как протянул этот долгий-предолгий вечер, пока не пробил назначенный час.

Я надел шинель – ведь неизвестно, сколько времени мне придется провести ночью в лесу, – а сверху опоясался саблей. Стащив гусарские сапоги, я надел башмаки и гетры, чтобы легче был шаг. Затем я осторожно вышел из дома и направился в лес, чувствуя огромное облегчение, – мне всегда становится лучше, когда проходит необходимость размышлять и наступает время действовать.

Я прошел мимо казарм гвардейских егерей, мимо маленьких кафе, битком набитых военными. Среди множества пехотинцев в темном и офицеров личного императорского конвоя в светло-зеленом я, проходя мимо, видел лазоревые с золотом мундиры моих однополчан. Гусары беззаботно потягивали вино и дымили сигарами, даже не подозревая о том, что предстояло их товарищу. Один из них, командир моего эскадрона, разглядел меня в свете, падавшем из окна, и, громко зовя меня, выбежал на улицу. Я прибавил шагу, делая вид, что не слышу, и он, обругав меня за глухоту, вернулся допивать бутылку.

Попасть в Фонтенбло – дело нетрудное. Отдельные деревья пробрались на улицы городка, как стрелки, идущие впереди колонны. Я свернул на тропку, которая вела на опушку леса, и быстро зашагал к старой сосне. Я уже намекал, что это место мне было знакомо благодаря особым причинам, и благодарил судьбу за то, что в эту ночь меня не поджидала там Леони. Бедная малютка, наверное, умерла бы от страха, увидев перед собой императора. А он мог обойтись с ней слишком сурово или – хуже того! – чересчур ласково.

Над лесом светил полумесяц, и, подходя к условленному месту, я увидел, что меня уже ждут. Под сосной, заложив руки за спину и уткнув подбородок в грудь, взад и вперед расхаживал император. На нем было длинное серое пальто с накинутым на голову капюшоном. Я видел его в этом одеянии во время нашей зимней кампании в Польше; говорили, будто он носил его потому, что капюшон служил прекрасной маскировкой. И в походах и в Париже император очень любил бродить по ночам и подслушивать разговоры в кабачках или у костров. Но его фигура, его манера держать голову и руки были настолько знакомы всем, что его немедленно узнавали, и люди принимались говорить то, что, как они полагали, ему было приятно услышать.

Первой моей мыслью было, что он рассердится на меня за то, что я заставил его ждать, но, когда я подошел, большие часы на церковной башне Фонтенбло пробили десять. Стало быть, я не опоздал, а он пришел слишком рано. Вспомнив его приказ не вступать в разговор, я остановился в четырех шагах, щелкнул шпорами, опустил саблю, которую я придерживал рукой, и отдал честь. Он взглянул на меня и без единого слова повернулся и медленно пошел по лесу; я последовал за ним, держась на том же расстоянии. Раз-другой он опасливо поглядел направо и налево, словно боясь, что кто-то следит за нами. Я тоже осматривался, но даже с моим острым зрением невозможно было разглядеть что-либо, кроме неровных пятен лунного света среди густой, черной тени под деревьями. Слух у меня такой же острый, как и зрение, и раза два мне показалось, что где-то треснул сучок, – но вы сами знаете, сколько звуков ночью в лесу и как трудно определить, откуда они слышатся.

Так мы прошагали больше мили, и я догадался, куда мы направляемся, задолго до того, как мы дошли до цели. Посреди одной из лесных полян стоял громадный расщепленный ствол – остаток когда-то росшего здесь гигантского дерева. Он был известен под именем Аббатова бука, о нем ходило столько всяких страшных историй, что я знаю немало храбрых солдат, которые побоялись бы стоять возле него на часах. Но я, конечно, не верил вздорным россказням, как, очевидно, и император; мы пересекли поляну и направились прямо к старому стволу. Подойдя поближе, я увидел под ним две ожидавшие нас фигуры.

Я заметил их, хотя они стояли чуть позади ствола, словно стараясь не выдать своего присутствия, но когда мы приблизились, они вышли из тени и двинулись нам навстречу. Император оглянулся на меня и чуть замедлил шаг; теперь я был уже на расстоянии вытянутой руки от него. Само собой, саблю я передвинул вперед и успел хорошо рассмотреть подходивших к нам людей.

Один из них был высок – я бы даже сказал, на редкость высок, – другой был ниже среднего роста и шел проворным, уверенным шагом. Оба были в черных мантиях, одетых на манер плащей мюратовских драгун. На обоих были плоские черные шляпы, какие я потом видел в Испании; поля затеняли их лица, хотя мне было видно, как из-под них сверкали глаза. Луна светила им в спину, их длинные черные тени тянулись впереди – словом, точь-в-точь призраки, которые могут привидеться ночью возле Аббатова бука. Они бесшумно скользили, приближаясь к нам, и лунных свет рисовал длинные белые ромбы между ногами идущих и ногами их теней.

Император остановился; два незнакомца тоже остановились в нескольких шагах. Я подошел к императору и стал рядом с ним; так мы стояли лицом к лицу, не произнося ни слова. Я глядел больше на высокого – он был чуточку ближе ко мне, и от меня не укрылось, что он взвинчен до предела. Он трясся всем своим тощим телом и дышал часто и неглубоко, как загнанная собака. Вдруг второй коротко свистнул. Высокий согнул спину и колени, как пловец перед прыжком в виду, но прежде, чем он успел двинуться, я, обнажив саблю, одним прыжком очутился перед ним. В то же мгновенье низенький ринулся на императора и вонзил ему в сердце кинжал.

Боже, что за ужасная минута! Просто чудо, что я сам не упал замертво. Будто во сне, я увидел, как судорожно дернулось и закружилось серое пальто и в лунном свете между лопаток высунулось на три дюйма кровавое лезвие кинжала. С предсмертным хрипом император рухнул на траву, а убийца, оставив кинжал в теле своей жертвы, вскинул руки к небу и издал радостный вопль. А я – я воткнул саблю ему в диафрагму с такой яростной силой, что от толчка рукоятки в грудную кость он отлетел на шесть шагов и там упал, оставив в моих руках дымящийся клинок. Я быстро обернулся к другому, охваченный такой жаждой крови, какой я никогда не испытывал и не испытаю, в ту же секунду перед глазами моими блеснул кинжал, холодное лезвие скользнуло мимо моей шеи, и рука негодяя с размаху уперлось мне в плечо. Я занес над ним саблю, но он отпрянул в сторону и мгновенно пустился бежать со всех ног, скачками, как олень, пересекая залитую лунным светом поляну.

Но ему, конечно, от меня не уйти. Я на секунду остановился над телом императора и тронул холодную руку. Я знал, что кинжал убийцы сделал свое дело. Несмотря на свою молодость, я достаточно навидался на войне и понимал, что удар был смертелен. – Ваше величество! Ваше величество! – в отчаянии окликал его я. В ответ ни звука, ни малейшего движения, только темное пятно расплывалось по земле, залитой лунным светом. Как безумный, я вскочил на ноги, сбросил шинель и изо всех сил помчался вдогонку за вторым убийцей.

Я благословлял себя за то, что додумался вместо сапог надеть башмаки с гетрами! И как хорошо, что меня осенило сбросить шинель! Этому негодяю не удалось выпутаться из своей мантии, или же он так перетрусил, что ему не пришло в голову ее снять. Поэтому у меня с самого начала было преимущество перед ним. Он, наверное, был не в своем уме – он даже не пытался скрыться в тени под деревьями, а перебегал от поляны к поляне, пока не достиг

вересковой пустоши, которая выводит к большой фонтенблоской каменоломне. Тут он был передо мной весь, как на ладони, и я знал, что ему от меня не уйти. Правда, он бежал неплохо – бежал, как бежит трус, спасая свою шкуру. А я бежал, как Судьба, неотступно следующая за человеком по пятам. Ярд за ярдом сокращалось расстояние между мною и им. Он спотыкался и пошатывался. Я слышал его хриплое, надсадное дыхание. И вдруг путь его пересекла зияющая пропасть каменоломни. Оглянувшись на меня через плечо, он испустил крик отчаяния. Через мгновенье он исчез из виду.

Понимаете – исчез совершенно. Я подбежал к обрыву и заглянул в темную пропасть. Неужели он бросился вниз? Я решил было, что так оно и есть, но вдруг снизу донеслись тихие прерывистые звуки. Это слышалось его дыхание, и я догадался, где он. С краю каменоломни, на небольшом выступе под обрывом, стоял дощатый сарайчик, где рабочие хранили свои инструменты. Убийца, конечно, юркнул туда. Он, безмозглая тварь, должно быть, думал, что в темноте я не рискну последовать за ним. Плохо же он знал Этьена Жерара! Одним прыжком я очутился на выступе; еще прыжок – и я ворвался в дверь, услышал в углу дыхание убийцы и навалился на него сверху. Он боролся, как дикая кошка, но где ему было одолеть меня этим коротким кинжалом! Кажется, я проткнул его насквозь первым же неистовым ударом, ибо хоть он и продолжал орудовать кинжалом, но рука его слабела все больше, и наконец кинжал со звоном упал на пол. Убедившись, что он мертв, я поднялся и вышел на освещенную луной площадку. Я вскарабкался наверх и пошел через пустошь, чувствуя, что вот-вот сойду с ума.

Слыша, как кровь звенит у меня в ушах, сжимая в руке обнаженную саблю, я бесцельно шагал по вересковой пустоши, пока не поднял голову и не увидел, что нахожусь на поляне возле Аббатова бука и вдали темнеет суковатый ствол, с которым теперь, наверное, навсегда будет связана самая страшная минута в моей жизни. Я сел на поваленное дерево, положив на колени саблю, обхватил голову руками и пытался осмыслить, что же произошло и что сулит мне грядущее… Император доверил мне свою жизнь. Император убит. Эти две мысли стучали у меня в мозгу, пока не вытеснили собою все остальные. Он пришел сюда вместе со мной, и он мертв. Я сделал все, что он приказал мне при жизни. Я отомстил за него, когда он умер. Но что из того? Все будут считать, что виноват во всем я. Быть может, меня даже сочтут убийцей. Что я могу доказать? Где мои свидетели? Разве я не мог. быть сообщником убийц? Да, да, я обесчещен навеки – я стану самым отверженным, самым презренным человеком во Франции. Конец моим честолюбивым мечтам о военной карьере, конец всем надеждам моей матушки. Я горько усмехнулся при этой мысли. Что же мне сейчас делать? Идти в Фонтенбло, поднять на ноги весь дворец и объявить, что великий император был убит в двух шагах от меня? Этого я не могу – нет, не могу! Для благородного человека, которого Судьба поставила в такое ужасное положение, есть лишь один выход. Я упаду грудью на свой опозоренный клинок и разделю участь императора, если уж не сумел предотвратить ее. Я встал; каждый нерв во мне был натянут перед этим последним, скорбным подвигом; но, подняв глаза, я вдруг увидел нечто такое, от чего у меня перехватило дух. Передо мной стоял император! Между нами было ярдов десять, не больше; луна светила прямо в его строгое, бледное лицо. Он был все в том же сером пальто, но капюшон был откинут, а пуговицы расстегнуты, и я увидел зеленый мундир и белые панталоны. Руки его по обыкновению были заложены за спину, подбородок опущен на грудь.

– Итак, – произнес он таким ледяным, суровым тоном, на какой был способен только он, – докладывайте, лейтенант Жерар!

Вероятно, если бы он еще минуту простоял молча, я бы лишился рассудка. Но именно этот резкий военный приказ и был мне необходим, чтобы прийти в себя. Мертвый или живой, но он был император, и он требовал от меня ответа. Я вытянулся и отдал честь.

– Я вижу, одного вы убили, – сказал он, кивнув головой в сторону старого бука. – Так точно, ваше величество!

– А другой убежал?

– Никак нет, ваше величество, я убил и второго.

– Что? – воскликнул он. – Вы хотите сказать, что убили обоих? – Он подошел ко мне ближе, и при лунном свете зубы его сверкнули в улыбке.

– Один труп лежит здесь, ваше величество, – ответил я. – Другой – в сарае для инструментов у каменоломни.

– Значит, Братьев из Аяччо уже нет на свете! – воскликнул он и, немного помолчав, заговорил как бы сам с собой: – И черная туча уже не будет висеть над моей головой…

Он положил мне руку на плечо.

– Вы отлично справились с делом, мой юный друг, – сказал он. Вы оправдали свою репутацию.

Значит, этот император – живой человек, с живой плотью и кровью! Я чувствовал прикосновение его маленькой пухлой ладони. Но то, что я видел собственными глазами, не выходило у меня из головы, и я уставился на него таким растерянным взглядом, что губы его снова раздвинулись в улыбке.

– Нет, нет, мсье Жерар, – сказал он, – я не призрак и не был убит на ваших глазах. Идите сюда, и вам все станет ясно.

Он повернулся и пошел к огромному старому стволу. Там на земле по-прежнему лежали два трупа, а возле них стояли два человека. Они были в чалмах, и я узнал Рустема и Мустафу, двух мамелюков из императорской охраны. Император остановился над лежавшей на земле серой фигурой и, откинув с головы ее капюшон, открыл чужое, незнакомое лицо.

– Вот лежит верный слуга, отдавший жизнь за своего господина, – произнес он. – Мсье де Гуден, как видите, был похож на меня фигурой и походкой.

Какая исступленная радость нахлынула на меня, когда все объяснилось! Он улыбнулся, видя мое ликование; мне хотелось броситься ему на шею и сжать в своих объятиях, но император, словно угадав мои намерения, отступил на шаг назад. – Вы не ранены? – спросил он.

– Не ранен, ваше величество. Но еще минута, и я бы от отчаяния…

– Вздор, вздор, – перебил он. Вы были молодцом. А ему следовало быть поосторожнее. Я видел, как все это произошло.

– Вы видели, ваше величество?!

– Значит, вы не слышали, что я шел за вами по лесу? Я не выпускал вас из виду с той минуты, как вы вышли из дома, и до того, как упал бедный де Гуден. Мнимый император шел впереди вас, а настоящий – сзади. А теперь вы будете сопровождать меня во дворец.

Он шепотом что-то приказал мамелюкам; те отдали честь и остались стоять на месте. Я же пошел вслед за императором, и даже ментик мой раздувался от гордости. Честное слово, я всегда держался, как подобает гусару, но даже сам Лассаль никогда не выпячивал грудь под доломаном так кичливо, как я в ту ночь. Кому же греметь саблей и звенеть шпорами, как не мне, Этьену Жерару, поверенному императора, лучшему рубаке легкой кавалерии, человеку, зарубившему двух мерзавцев, покушавшихся на жизнь Наполеона? Но он заметил мою развязную походку и обрушился на меня, как гром небесный.

– Так-то вы держите себя, исполняя секретное поручение? – прошипел он, и глаза его загорелись холодным огнем. – Так-то вы хотите заставить ваших товарищей поверить, что ничего особенного не произошло? Ведите себя прилично, мсье, иначе вы живо окажетесь в саперном полку, где работа потруднее, а плюмаж потусклее. Таков был наш император. Стоило ему заподозрить, что кто-то претендует на особые права, как он тотчас же давал зазнавшемуся понять, что между ними лежит пропасть. Я отдал честь и притих, но, должен сознаться, что после всего, что было, я почувствовал себя обиженным. Он привел меня ко дворцу, мы вошли в боковую дверь, и я проследовал за ним в его личный кабинет. На лестнице стояли два

гренадера, и, клянусь вам, у них глаза повылезали на лоб, когда они увидели, что молодой лейтенантгусар около полуночи входит в личные апартаменты императора. Я стал у двери, как днем, а он бросился в кресло и погрузился в такое долгое молчанье, что мне казалось, он совсем позабыл про меня. Наконец, чтобы привлечь его внимание, я позволил себе легонько кашлянуть.

– А, мсье Жерар, – отозвался он, – вам, конечно, не терпится узнать, что все это значит?

– Я совершенно доволен, ваше величество, даже если вам не угодно ничего объяснять.

– Вздор, вздор, – нетерпеливо сказал он. – Это только слова. Стоит вам выйти за дверь, как вы начнете разнюхивать, что к чему. Через два дня обо всем узнают ваши собратья-офицеры, через три слухами будет полон весь Фонтенбло, а через четыре – это дойдет до Парижа. Если же я сам расскажу вам достаточно, чтобы насытить ваше любопытство, то есть некоторая надежда, что вы будете держать язык за зубами. Плохо он меня знал, наш император, и все же мне ничего не оставалось, как поклониться и промолчать.

– Я вам все объясню в нескольких словах, – сказал он скороговоркой, принимаясь шагать по комнате. – Они корсиканцы, эти двое. Я знал их в юности. Мы были членами одного общества – называли мы себя «Братья из Аяччо». Общество было основано еще во времена Паоли, и у нас существовали суровые законы, которые нельзя было нарушать безнаказанно.

В чертах его проступило выражение жестокости; мне казалось, что все французское в нем сразу исчезло – передо мной стоял истый корсиканец, человек сильных страстей, тайный мститель. Он мысленно перенесся в те давние дни и минут пять расхаживал по комнате быстро и бесшумно, как тигр. Затем нетерпеливо махнул рукой и как бы снова вернулся в свой дворец и к своему гусару.

– Законы такого общества, – продолжал он, – годятся для обыкновенного гражданина. В то время не было более верного члена братства, чем я. Но обстоятельства изменились, и теперь подчинение этим законам не принесло бы добра ни мне, ни Франции. Они же хотели заставить меня подчиняться и сами навлекли беду на свои головы. Эти двое были главарями общества; они приехали с Корсики и пригласили меня встретиться в назначенном ими месте. Я знал, что означает это приглашение. Еще ни один человек не возвращался живым после такого свидания. С другой стороны, я не сомневался, что если я не приду, то несчастья не миновать. Не забывайте, что я сам член этого братства и знаю его обычаи.

И снова возле рта у него появилась жесткая складка, а в глазах мелькнул холодный блеск.

– Вы понимаете, что я оказался между двух огней, мсье Жерар, – сказал он. – Как бы вы поступили на моем месте?

– Дал бы приказ Десятому гусарскому, ваше величество! – воскликнул я. – Дозорные прочесали бы лес вдоль и поперек и бросили бы к вашим ногам этих негодяев. Он усмехнулся и покачал головой.

– Я не хотел, чтобы их взяли живыми – у меня на то были очень веские причины, – сказал он. – Вы, надеюсь, понимаете, что язык убийцы – такое же опасное оружие, как кинжал. Не стану от вас скрывать – я хотел любой ценой избежать скандала. Вот почему я велел вам не брать с собой пистолеты. И вот почему мои мамелюки уничтожат все следы этой истории, и никто ничего не узнает. Я перебрал в уме множество планов и уверен, что выбрал наилучший. Если бы я послал с де Гуденом в лес не одного спутника, а больше, – братья не появились бы. Но из-за одного человека они не стали бы менять свои планы и не упустили бы возможности покончить со мной. Когда я получил их приглашение, у меня случайно находился полковник Лассаль, и это навело меня на мысль выбрать для моей цели одного из гусар. Я остановил свой выбор на вас, мсье Жерар, потому что мне был нужен человек, который умел бы владеть саблей и не стал бы совать нос в мои дела больше, чем мне хотелось бы. Я верю, что вы и в этом отношении оправдаете мой выбор, как вы оправдали его в смысле ловкости и отваги. – Ваше величество, – ответил я, – можете на меня положиться.

3. КАК БРИГАДИРУ ДОСТАЛСЯ КОРОЛЬ

Вот здесь, в петлице мундира, я, как видите, ношу ленточку, но медаль я держу дома в кожаном кошельке и не решаюсь ее вынимать, разве только какой-нибудь из нынешних генералов или знатный иностранец заедет в наш городок и захочет воспользоваться случаем, чтобы засвидетельствовать почтение знаменитому бригадиру Жерару. Тогда я надеваю медаль на грудь и закручиваю усы а-ля Маренго – так, чтобы седые кончики торчали до самых глаз. И все-таки боюсь, что ни им, ни даже вам, друзья мои, никогда не уразуметь, что я был за человек. Вы меня знаете как штатского – ну, конечно, с выправкой и молодецким видом, но все же как обыкновенного штатского. Посмотрели бы вы на меня, когда я стоял в дверях гостиницы в Аламо 1 июля 1810 года, вы бы поняли, что такое настоящий гусар!

Целый месяц я томился в этой забытой богом деревне по милости проткнувшей мне щиколотку пики, из-за чего я долго не мог ступить ногой на землю. Сначала, кроме меня, там было еще трое: старый Буве из Бершенийского гусарского, Жак Ренье из Кирасирского и потешный маленький капитан-вольтижер – забыл, как его звали. Но они скоро выздоровели, а я сидел в деревне, грыз ногти, рвал на себе волосы и даже, признаться, иной раз проливал слезы, думая о моих конфланских гусарах и бедственном положении, в котором они очутились, лишившись своего полковника. Тогда я еще не командовал бригадой, как вы понимаете, хотя держался, как бригадир, но я был самым молодым полковником во всей армии, и полк заменял мне жену и детей. У меня разрывалось сердце при мысли, что они обездолены. Правда, Вийяре, старший майор, был отличным солдатом; но все же даже среди лучших существуют степени превосходства.

О, тот счастливый июльский день, когда я впервые доковылял до дверей и стоял под лучами золотого испанского солнца! Накануне вечером я получил вести из полка. Он был в Пасторесе, по ту сторону гор, лицом к лицу с англичанами – не больше, чем в сорока милях от меня, если ехать по дороге. Но как я мог до них добраться? Та же пика, что проколола мне щиколотку, убила моего коня. Я посоветовался с Гомесом, хозяином гостиницы, и со стариком священником, который здесь ночевал, но оба заверили меня, что во всей округе не осталось даже жеребенка.

Хозяин и слышать не хотел о том, чтобы я ехал через горы один: по его словам, в тех местах хозяйничал со своим отрядом Эль-Кучильо, глава испанских партизан, а попасться ему в руки – значит умереть под пытками. Старый священник заметил, однако, что это вряд ли может остановить французского гусара, и если у меня были колебания, то после его слов они исчезли окончательно.

Но конь! Где взять коня? Стоя в дверях, я усиленно размышлял и придумывал всякие планы, как вдруг услышал цокот копыт и, подняв глаза, увидел крупного бородатого человека в синем плаще военного образца. Он ехал верхом на вороном коне с белым чулком на левой передней ноге.

– Здорово, товарищ! – окликнул я, когда он подъехал ближе.

– Здорово! – ответил он.

– Я полковник Жерар из гусарского полка, – отрекомендовался я. – Пролежал здесь, раненый, целый месяц и теперь готов присоединиться к своему полку в Пасторесе. – Я мсье Видаль из интендантства, – сказал он, – и тоже направляюсь в Пасторес. Буду рад вашему обществу, полковник, говорят, что в горах небезопасно. – Увы, – вздохнул я, – у меня нет коня. Но если вы продадите мне своего, я обещаю прислать за вами отряд гусар.

Он отказался наотрез, – напрасно хозяин наговорил ему всяких ужасов про ЭльКучильо, а я твердил о долге перед армией и страной, который он обязан исполнить. Он даже не стал спорить и громко потребовал вина. Я не без задней мысли предложил ему сойти с лошади и выпить со мною, но он, должно быть, прочел что-то на моем лице и только замотал головой.

Тогда я подошел к нему, намереваясь схватить его за ногу, но он вонзил шпоры в бока лошади и, вздымая облако пыли, умчался прочь.

Клянусь честью, можно было сойти с ума, глядя, как этот малый резво скачет вдогонку своим ящикам с говядиной и бочонкам коньяка, и думая при этом о пяти сотнях великолепных гусар, которые остались без своего полковника. С горькими мыслями я смотрел ему вслед, и кто же, вы думаете, вдруг тронул меня за локоть? Тот старичок священник, о котором я уже говорил.

– Я могу вам помочь, – сказал он. – Я тоже еду на юг. Я крепко обнял его, но тут у меня подвернулась щиколотка, и мы оба чуть не упали на землю.

– Довезите меня до Пастореса, – воскликнул я, – и вы получите четки из чистейшего золота! – Я взял себе такие четки в монастыре Святого духа. Это еще лишний раз доказывает, как необходимо во время кампании прибирать к рукам все, что можно, и какую пользу может иногда принести самая неожиданная вещь. – Я возьму вас с собой, – ответил он на прекрасном французском языке, – не потому, что надеюсь на вознаграждение, но потому, что в моих правилах оказывать любую посильную помощь своему собрату – человеку; за это меня любят всюду, где я бываю.

С этими словами он повел меня в конец деревни, к ветхому коровнику, в котором мы нашли полуразвалившийся дилижанс, из тех, какие ходили в самом начале века между отдаленными деревнями. Тут же стояли три старых мула; ни один из них не выдержал бы на себе человека, но втроем они кое-как могли тащить карету. При виде этих тощих ребер и изъеденных болячками ног я пришел в такой восторг, какой не испытывал, даже глядя на двести двадцать императорских скакунов, стоявших в конюшнях Фонтенбло. За десять минут хозяин мулов запряг их в карету – не очень, впрочем, охотно, так как он смертельно боялся Кучильо. И только после того, как я наобещал ему все богатства на земле, а священник пригрозил вечными муками на небе, он наконец взобрался на козлы и взял в руки вожжи. И тут, боясь, что темнота застигнет нас в горах, он так заторопился в путь, что я еле успел повторить свои клятвы дочери хозяина гостиницы. Сейчас я уже не припомню, как ее звали, но, расставаясь, мы оба плакали, и, насколько мне помнится, это была очень красивая девушка. Вы сами понимаете, друзья мои, когда такой человек, как я, человек, сражавшийся с мужчинами и целовавший женщин в четырнадцати разных государствах, скажет комплимент одной или другой, это само по себе еще ничего не значит.

Мой священник немножко нахмурился, когда мы целовались на прощанье, но в карете оказался превеселым спутником. Всю дорогу он потешал меня историями из жизни своего прихода, находившегося где-то высоко в горах, а я, в свою очередь, рассказывал ему случаи из походной жизни, но, клянусь честью, вскоре мне пришлось попридержать язык: стоило только сказать соленое словцо, как он начинал ерзать на сиденье, и по лицу его было видно, как ему мучительно слышать такие вещи. Конечно, благородный человек должен разговаривать с духовным лицом не иначе, как в самых благопристойных выражениях, но что делать – как я ни старался, а все же иногда срывалось какое-нибудь словечко!

Он прибыл с севера Испании и ехал навестить свою мать в одну из деревень Эстремадуры, и, когда он рассказывал мне о ее маленькой крестьянской хижине и о том, как она ему обрадуется, я так живо вспомнил свою матушку, что на глаза у меня набежали слезы. Он простодушно показал мне маленькие подарки, которые он си вез, и в нем чувствовалась такая доброта, что, наверное, и вправду, как он сказал, его любили всюду, где бы он ни бывал. Он с детским любопытством рассматривал мой мундир, восхищался плюмажем на кивере и гладил пальцами соболью оторочку моего доломана. Он даже вытащил из ножен мою саблю, а когда я рассказал, какое множество людей я сразил ею, и постучал пальцем по зазубринке, которую оставила на клинке плечевая кость адъютанта русского императора, он вздрогнул и положил саблю на кожаную подушку, заявив, что ему становится дурно от одного ее вида.

Так мы разговаривали, а скрипучая карета катилась по дороге все дальше, и, когда мы подъехали г подножию гор, откуда-то издалека, справа, донесся грохот пушки. Там был Массена, который, как мне было известно, осаждал Сьюдад-Родриго. Больше всего на свете мне хотелось отправиться прямо к нему, потому что если, как говорят, в нем текла еврейская кровь, то это был самый доблестный еврей со времен Иисуса Навина. Стоило вам завидеть его крючковатый нос и смелые черные глаза, как вы понимали, что находитесь в самом пекле боя. Но все-таки осада – это скучная работа киркой да лопатой, и у моих гусар, имевших перед собой англичан, перспективы были гораздо интереснее. С каждой оставшейся позади милей на сердце у меня становилось веселее: скоро я снова увижу всех моих прекрасных лошадей и моих отважных товарищей. Мы въехали в горы; дорога стала более каменистой, а ущелье – более диким. Сначала нам иногда встречались погонщики мулов, потом стало безлюдно, точно все вокруг вымерло, и тут не было ничего удивительного, так как эта местность переходила поочередно то к французам, то к англичанам, то к партизанам. Рыжие морщинистые скалы высились одна над другой, ущелье становилось все уже, и вокруг было так мрачно и глухо, что я перестал смотреть по сторонам и сидел молча, думая о том о сем: о женщинах, которых я любил, и о скакунах, на которых мне приходилось ездить. Внезапно я отвлекся от своих дум, увидев, что мой спутник вынул что-то вроде шила и с трудом пытается проколоть дырку в ремешке, на котором висела его фляжка с водой. Ремешок выскользнул из его согнутых пальцев, деревянная бутылка упала к моим ногам. Я нагнулся, чтобы поднять ее, и вдруг священник навалился мне на плечо и ткнул чем-то острым мне прямо в глаз.

Друзья, вы знаете, что я человек закаленный и, не дрогнув, могу встретить любую опасность, Но солдату, который провел все кампании, от Цюриха до последнего рокового дня Ватерлоо, и имеет особую медаль, хранящуюся дома в кожаном кошельке, не стыдно признаться, что он однажды испугался. И если кто-то из вас когда-нибудь не совладает со своими нервами, пусть утешится, вспомнив, что даже сам бригадир Жерар сказал, что ему было страшно. Кроме испуга при таком ужасном нападении, кроме жгучей боли, я ощутил еще внезапное отвращение, – так, наверное, бывает, когда в вас вонзит свое жало омерзительный тарантул.

Я схватил гадину за обе руки, повалил на пол кареты и придавил своими тяжелыми сапогами. Он выхватил из-под сутаны пистолет, но я выбил его у него из рук и стал коленями ему на грудь. Тут он впервые страшно закричал, а я, полуослепшии, стал шарить вокруг, ища его кинжал: потому что теперь я понял, что это был кинжал, а не шило. Я нащупал его рукой и смахнул кровь с лица, чтобы видеть, куда ударить, но в это мгновение карета резко накренилась, и от толчка кинжал выпал из моей руки. Не успел я прийти в себя, как дверца распахнулась, и меня за ноги выволокли на дорогу. И хотя я весь ободрался об острые камни и увидел, что меня окружает человек тридцать, сердце мое подпрыгнуло от радости, потому что во время борьбы ментик упал мне на голову и закрыл один глаз, а я видел всю эту шайку раненым глазом! Вот по этому рубчику вы можете видеть, что тонкое лезвие задело веко, скользнув мимо глазного яблока, но, только когда меня выволокли из кареты, я понял, что мне не грозит остаться слепым до конца моих дней. Мерзавец священник, разумеется, намеревался через глаз проникнуть в мозг, и какую-то косточку в голове он мне действительно повредил, так что впоследствии эта рана мучила меня больше, чем любая из тех семнадцати, что я получил.

Они, эти негодяи, с проклятиями и ругательствами вытащили меня на дорогу и лежачего били кулаками и пинали ногами. Мне не раз приходилось замечать, что горцы обматывают ноги куском холста, но никогда я не думал, что буду благодарить за это небо. Вскоре, видя, что голова моя окровавлена и я лежу неподвижно, они решили, что я потерял сознание, а я в это время старался запомнить каждую безобразную рожу, чтобы, если судьба мне улыбнется, полюбоваться ими на виселице. Все это были дюжие детины, повязанные желтыми платками, с пистолетами за поясом. На дорогу, в том месте, где она делала крутой поворот, они скатили

два валуна – одно колесо нашей кареты зацепилось за камень и оторвалось, и мы едва не опрокинулись. А этот мерзавец, так ловко прикидывавшийся священником и столько рассказывавший мне про своих прихожан и свою мать, конечно, знал о засаде и пытался лишить меня возможности сопротивляться, когда мы к ней подъехали.

Не могу описать, в какое бешенство они пришли, когда вытащили его из кареты и увидели, что я с ним сделал. Если он и не успел получить по заслугам, то, во всяком случае, будет долго помнить о встрече с Этьеном Жераром. Ноги его беспомощно болтались в воздухе; когда его хотели поставить, он плюхнулся на землю, и только верхняя часть его тела извивалась от ярости и боли, но при этом его маленькие черные глазки, казавшиеся в карете такими добрыми, горели, как у раненой кошки, и он злобно плевал в мою сторону. Клянусь честью, когда разбойники подняли меня на ноги и потащили по горной тропе, я понял, что сейчас мне понадобится все мое мужество и вся моя находчивость. Сзади два человека несли на плечах моего врага, и я, карабкаясь по петляющей тропе, то одним, то другим ухом слышал его злобное шипенье и ругательства. Мы поднимались, наверное, не менее часа, а так как меня мучила ноющая щиколотка, боль в раненом глазу и тревога, как бы рана не испортила мою наружность, то путешествие это оставило у меня на редкость неприятные воспоминания. Я раньше не очень-то умел лазить по горам, но вы не поверите, как бодро можно взбираться, даже хромая на больную ногу, если с обеих сторон у вас меднокожие разбойники, а девятидюймовые клинки торчат у самых боков.

Наконец мы добрались до перевала, откуда извилистая дорога спускалась через хвойный лес вниз, в долину, тянущуюся к югу. Не будь войны, я бы не сомневался, что эти люди – контрабандисты и что меня ведут по тайным тропам, которыми они пробираются через португальскую границу. Я видел следы множества мулов, а на сырой земле возле пересекавшего тропу ручейка, к удивлению своему, заметил отпечатки копыт крупной лошади. Вскоре все объяснилось: когда мы дошли до лесной поляны, я увидел и лошадь, привязанную к упавшему дереву. С одного взгляда я узнал вороную стать коня и белый чулок на левой передней ноге. Это была та самая лошадь, которую я выпрашивал нынче утром.

Что же сталось с интендантом Видалем? Неужели еще один француз попал в такой же опасный переплет, как я? Едва я успел подумать об этом, как спутники мои остановились и один из них издал странный крик. Тотчас же из зарослей ежевики на краю поляны послышался ответный крик, и через секунду появились еще десять-двенадцать разбойников. С криками горя и сочувствия они окружили моего друга – мастера орудовать шилом, а затем обернулись ко мне, вопя и размахивая кинжалами. Они так неистовствовали, что я уже решил: пришел мой конец – и готовился встретить его, как подобает человеку с моей репутацией, но вдруг один из них отдал какой-то приказ, и меня грубо потащили через просеку в заросли ежевики.

Узкая тропинка привела нас через заросли к глубокому гроту в скале. Солнце уже почти зашло, и в пещере было бы совсем темно, если бы не два горящих факела, засунутые в трещины между камнями. За грубо сколоченным столом сидел весьма необычного вида человек; по уважительности, с которой к нему обращались остальные, я сразу догадался, что это не кто иной, как их начальник, Эль-Кучильо. Покалеченного мною бандита внесли и посадили на бочку; ноги его все так же бессильно свисали вниз, а кошачьи глаза метали на меня взгляды, полные ненависти. Из обрывков его разговора с главарем я уловил, что он был лейтенантом отряда и в его обязанности входило заманивать своими медовыми речами и мирным обличьем путников вроде меня. Представив себе, скольких отважных офицеров завело в ловушку это лицемерное чудовище, я обрадовался, что положил конец его злодеяниям, хотя и побаивался, что это будет стоить жизни человеку, который так необходим императору и армии.

Пока изувеченный шпион, поддерживаемый двумя своими товарищами,

рассказывал по-испански о том, что с ним стряслось, я в окружении нескольких разбойников стоял прямо перед столом, за которым сидел их главарь, и таким образом мог

присмотреться к нему поближе. Редко я встречал человека, так не соответствовавшего моему представлению о разбойнике, и тем более о разбойнике, который заслужил такую мрачную репутацию. У него было грубовато-добродушное, открытое и ласковое лицо с румяными щеками и приятными пушистыми бачками, придававшими ему вид зажиточного бакалейщика с улицы Сент-Антуан. На нем не было ни яркого шарфа-пояса, ни сверкающих пистолетов и кинжалов, как на других, – наоборот, он, словно солидный отец семейства, был одет в добротный суконный сюртук, и если бы не коричневые кожаные гетры, ничто бы не напоминало в нем горца. Лежавшие перед ним вещи вполне соответствовали его внешности: на столе, кроме табакерки, находилась большая книга в коричневом переплете, похожая на счетную книгу лавочника. На доске, положенной на два бочонка, выстроился ряд других книг, по столу были разбросаны листы бумаги, на некоторых были даже нацарапаны какие-то стихи. Все это я разглядел, пока он, лениво развалясь на стуле, слушал доклад своего лейтенанта. Выслушав, он приказал вынести калеку, а я в окружении трех стражей остался ждать решения своей судьбы. Он взял перо, и похлопывая его верхним концом себе по лбу, покусывал губы и искоса глядел на потолок пещеры.

– По всей вероятности, – сказал он на превосходном французском языке, – вы не способны придумать рифму к слову Covilha?

Я ответил, что мое знакомство с испанским языком настолько ограниченно, что я не могу оказать ему эту услугу.

– Это очень богатый язык, – сказал он, – но гораздо менее изобилующий рифмами, чем немецкий или французский. Вот почему лучшие наши творения написаны белым стихом; это форма, позволяющая достичь большого совершенства. Но боюсь, что такая тема не вполне доступна пониманию гусара.

Я хотел было ответить, что если она доступна партизану, то не может быть недоступной для полковника легкой кавалерии, но он уже нагнулся над листком с незаконченными стихами. Вскоре он с радостным возгласом отбросил перо и продекламировал несколько строчек, вызвавших у трех моих стражей одобрительные восклицания. Широкое лицо главаря залилось краской, как у девушки, впервые услышавшей комплимент.

– По-видимому, мои критики довольны, – сказал он. – Понимаете ли, мы тут в долгие вечера развлекаемся пением баллад собственного сочинения. У меня есть коекакие способности в этой области, и я не теряю надежды в скором времени увидеть мои скромные попытки, изданные отдельной книгой со словом «Мадрид» на заглавной странице. Но вернемся к нашим делам. Позвольте узнать ваше имя.

– Этьен Жерар.

– Чин?

– Полковник.

– Полк?

– Третий гусарский.

– Вы слишком молоды для полковника.

– Я много раз отличался по службе.

– Тем печальнее для вас, – сказал он с ласковой улыбкой.

Я ничего не ответил, но всем своим видом старался показать, что готов к самому худшему.

– Между прочим, мне кажется, что у нас тут есть кое-кто из легкой кавалерии, – сказал он, листая страницы толстой коричневой книги. – Мы стараемся вести реестр нашим действиям. Вот запись двадцать четвертого июня. Был ли у вас молодой офицер по имени Субирон, высокий, тонкий юноша с белокурыми волосами?

– Да, конечно.

– Я вижу, что в этот день мы его закопали в землю.

– Бедняга! – воскликнул я. – Но какой же смертью он умер?

– Мы его закопали в землю.

– Но до того, как вы его закопали?

– Вы не поняли меня, полковник. Он не был мертв, когда мы его закопали. – Вы закопали его живым!

Я был так ошеломлен, что на мгновенье застыл. Затем я кинулся на сидевшего с безмятежной улыбкой главаря и перервал бы ему глотку, если бы меня не оттащили трое бандитов. Я снова и снова бросался к нему, отбрасывая от себя то одного, то другого; задыхаясь, я выкрикивал ругательства, боролся изо всех сил, но так и не смог вырваться. Наконец меня в изорванном мундире, с окровавленными запястьями оттянули назад, скрутив мне руки и ноги веревками и канатами.

– Ах ты, елейная собака! – закричал я. – Попадешься ты мне на кончик сабли, я тебе покажу, как мучить моих ребят! Ты увидишь, кровожадная скотина, что у моего императора длинные руки, и, сколько бы ты не прятался в этой дыре, как крыса, придет время, когда он тебя вытащит наружу и ты сдохнешь вместе со всем твоим сбродом! Клянусь честью, я умею ругаться, и я бросал ему в лицо все крепкие слова, которым я научился за четырнадцать кампаний, но он сидел, скосив глаза на потолок, и постукивал концом пера по лбу, словно обдумывая какую-то новую строфу. И тут меня осенило, как можно побольнее уязвить его.

– Ты, жалкое отродье! – крикнул я. – Ты воображаешь, что здесь ты в безопасности, но жизнь твоя будет такой же куцей, как твои бездарные стишки, а уж бог видит, что ничего более куцего на свете нет!

Если бы вы видели, как он вскочил со стула, услышав мои слова! У этого чудовища, отмерявшего смерть и пытки, как бакалейщик отмеривает винные ягоды, было слабое место, по которому я мог бить в свое удовольствие. Лицо его побагровело, а бачки, какие носят лавочники, встали дыбом и затряслись от гнева.

– Прекрасно, полковник. Можете не продолжать, – сказал он сдавленным голосом. – По вашим словам, вы блестяще начали свою карьеру. Обещаю, что вы ее не менее блестяще закончите. Полковник Этьен Жерар из Третьего гусарского умрет необычной смертью,

– Об одном прошу, – сказал я, – не пишите на мою смерть стихов! – Я хотел было подпустить ему еще пару шпилек, но он перебил меня гневным жестом, и три моих стража потащили меня вон из пещеры.

Должно быть, наша беседа, которую я вам передал лишь приблизительно, длилась довольно долго, – снаружи совсем стемнело, и на небе ярко сияла луна. Разбойники разожгли на полянке костер из сухих сосновых веток, конечно, не для того, чтобы погреться, – ночь была душная, – а чтобы приготовить себе ужин. Над огнем висел огромный медный котел, желтое пламя освещало разлегшихся вокруг людей, и это зрелище было похоже на одну из тех картин, которые Жюно похитил в Мадриде. Некоторые солдаты хвастаются, что им наплевать на искусство и всякое художество, но я большой любитель искусства, и тут сказывается мой тонкий вкус и хорошее воспитание. Помню, например, когда после падения Данцига Лефевр распродавал свою добычу, я купил очень хорошенькую картинку под названием «Испуганная нимфа в лесу»; я возил ее с собой в течение двух кампаний, но потом мой конь имел неосторожность продавить ее копытом.

Это я говорю только к тому, чтобы показать вам, что никогда я не был грубым солдафоном вроде Раппа или Нея. Само собой, когда я валялся на земле в лагере разбойников, у меня не было ни времени, ни охоты размышлять о таких вещах. Меня бросили под дерево, трое головорезов уселись рядом на корточках и покуривали сигары. Я не знал, что делать, За всю мою службу я, наверное, и десяти раз не бывал в таком отчаянном положении. «Мужайся, мой храбрый мальчик, – твердил я себе. – Мужайся! Тебя произвели в полковники в двадцать восемь лет не за то, что ты танцевал котильоны. Ты человек особенный, Этьен; ты выходил

невредимым более чем из двухсот переделок, и этот маленький камуфлет, конечно, будет не последним». Я стал жадно вглядываться в окружающее, стараясь найти путь к спасению, и вдруг увидел нечто такое, что меня ошеломило.

Как я уже сказал, посреди полянки пылал большой костер. Огонь и луна хорошо освещали все вокруг. На другой стороне поляны стояла высокая сосна, которая привлекла мое внимание потому, что ее ствол и нижние ветки были подсвечены, словно под ней горел огонь. Основание ствола скрывали за собой кусты. Так вот, разглядывая сосну, я, к своему удивлению, увидел, что над кустами торчит носками кверху пара прекрасных кавалерийских сапог, очевидно, привязанных к дереву, как я подумал вначале. Но приглядевшись, я заметил, что они приколочены длинными гвоздями. И вдруг я с ужасом понял, что сапоги не пустые, и, чуть наклонив голову вправо, увидел того, кто был прибит к дереву и для кого был зажжен внизу огонь. Не очень-то приятно рассказывать и думать о таких ужасах, друзья мои, и я вовсе не хочу, чтобы ночью вас мучили кошмары, но вам будет трудно представить себе все происходящее, если я не покажу вам, что за люди были эти испанские герильясы и какими способами они вели войну. Скажу только, что я понял, почему лошадь мсье Вида-ля оказалась в роще без хозяина, и надеялся, что он встретил свою страшную смерть с достоинством и мужеством, как настоящий француз.

Сами понимаете, друзья, это зрелище меня не слишком развеселило. Там, в пещере, перед главарем разбойников, я был так взбешен, узнав о мучительной смерти молодого Субирона, одного из самых славных малых, которые когда-либо перекидывали ногу через седло, что ничуть не думал о собственной участи. Вероятно, было бы дипломатичнее разговаривать с этим мерзавцем вежливо, но теперь уже дела не поправишь. Пробка вынута, и надо выпить вино до дна. Ведь если даже безобидный интендант нашел такую смерть, на что же могу надеяться я, переломивший хребет их лейтенанту? Нет, конечно, я обречен, и единственное, что мне осталось, – это сохранять достоинство. Пусть это чудовище убедится, что Этьен Жерар умер так же, как и жил, и что по крайней мере хоть один пленник не сробел перед ним. Я лежал и думал о девушках, которые будут меня оплакивать, о своей дорогой матушке, о том, какую незаменимую потерю понесет и мой полк и сам император, и я не стыжусь признаться, что всплакнул при мысли о всеобщем горе, которое вызовет моя преждевременная гибель.

Но вместе с тем я зорко наблюдал за всем, что творилось вокруг, выискивая чтонибудь такое, что могло сослужить мне службу. Не такой я человек, чтобы лежать, как хворая лошадь в ожидании живодера с тесаком! Изо всех сил напрягая мускулы, я чутьчуть расслабил веревку, связывавшую мне щиколотки, потом другую, которой были скручены мои запястья, и одновременно осматривался кругом. Одно мне было очевидно: гусар без лошади – это лишь полчеловека, а вторая моя половина мирно паслась шагах в тридцати от меня. Затем я приметил еще одно обстоятельство. Тропа, по которой мы спустились с гор, была так крута, что лошадь могла бы взобраться по ней с большим трудом и только шагом, зато дорога в другую сторону более ровно и отлого спускалась в долину. Будь у меня в руках сабля да сумей я вдеть ногу вон в то стремя, один стремительный рывок мог бы спасти меня от этих горных хищников.

Пока я раздумывал об этом и старался ослабить веревки на руках и ногах, из грота вышел главарь и, подойдя к стонавшему на земле у костра лейтенанту, заговорил с ним; потом оба кивнули головой и поглядели в мою сторону. Главарь что-то сказал своей шайке; бандиты громко захохотали и захлопали в ладоши. Все это выглядело зловеще, и я обрадовался, почувствовав, что почти освободил руки, – при желании я мог легко сбросить веревку. С ногами дело обстояло хуже: стоило мне напрячь мускулы, как раненую щиколотку пронзала такая боль, что я грыз усы, чтобы не закричать. Оставалось только лежать полусвязанным и смотреть, какой оборот примет дело.

Поначалу я не мог догадаться, что они затевают. Один из негодяев вскарабкался на высокую сосну с краю поляны и обвязал ее ствол канатом. Потом он таким же манером обвязал

сосну с другой стороны поляны. Два конца каната свисали с сосен, и я не без любопытства и чуть-чуть тревожно ждал, что будет дальше. Вся банда уцепилась за конец каната и тянула его вниз, пока сильное молодое дерево не согнулось дугой; тогда они обкрутили канат вокруг пня и завязали его. Точно так же они согнули и второе дерево – обе вершины оказались всего в нескольких футах одна от другой, хотя, как вы понимаете, стоило только отпустить канаты – и деревья пружинисто взмыли бы вверх. И тут я разгадал дьявольский план злодеев.

– Я полагаю, вы человек сильный, полковник, – с отвратительной улыбкой сказал главарь, подойдя ко мне.

– Если вы будете добры снять с меня веревки, – ответил я, – я покажу вам, силен я или нет.

– Нас всех очень интересует, сильнее ли вы этих молодых сосенок, – сказал он. – Видите ли, мы хотим привязать каждую к вашим щиколоткам и отпустить деревья. Если вы сильнее их, тогда, конечно, вы останетесь целы и невредимы; с другой стороны, если деревья окажутся сильнее, то нам на память останутся две ваши половины по обеим сторонам нашей маленькой полянки.

Он засмеялся, и, увидев это, все остальные оглушительно захохотали. Даже теперь, когда на меня находит мрачное настроение или меня трясет застарелая литовская малярия, я вижу во сне эти рожи с жестокими глазами и белыми зубами, блестевшими при свете костра.

Поразительно, как обостряются чувства в решающие минуты; это я не раз слыхал и от других. Я убежден, что никогда человек не живет так напряженно, так сильно, как в те мгновенья, когда его ждет жестокая, мучительная смерть. Я чувствовал смолистый запах веток, я видел каждый сучок, лежавший на земле, я слышал шелест хвои так отчетливо, как никогда ничего не видел, не слышал и не чувствовал в минуты опасности. И поэтому раньше всех других, раньше, чем ко мне обратился главарь, я услышал глухой равномерный шум, далекий, но приближающийся с каждой секундой. Сначала это был просто неясный гул, но когда убийцы стали развязывать мне ноги, чтобы отвести к месту казни, я уже ясно, как никогда в жизни, слышал топот копыт, звяканье уздечек и звон сабель, бьющихся о стремена. Разве мог я, служивший в легкой кавалерии с тех пор, как на верхней губе у меня появился пушок, не узнать звуков, сопровождающих кавалеристов на марше?

– На помощь, товарищи, на помощь! – закричал я. Меня били по губам, меня пытались оттащить под деревья, но я все же кричал: – На помощь, мои храбрые ребята! На помощь, дети мои! Здесь убивают вашего полковника!

От ран, от пережитых тревог я был словно в полубреду и ничуть не сомневался, что сейчас на поляну выедут пятьсот моих гусар с литаврами и прочим.

Но увидел я то, чего меньше всего ожидал. На поляну вылетел красивый молодой человек на великолепной чалой лошади. У него было свежее, на редкость приятное и благородное лицо и на редкость изящная осанка, пожалуй, даже похожая на мою. На нем был странный мундир, когда-то, очевидно, сплошь красный, а теперь порыжелый и местами ставший цвета сухого дубового листа. Однако эполеты его были окаймлены золотым кружевом, и на голове была блестящая каска с кокетливым белым пером сбоку гребня. За ним скакали четыре всадника в таких же мундирах – все гладко выбритые, с круглыми, приятными лицами; мне они показались похожими скорее на монахов, чем на драгун. Повинуясь краткому резкому приказу, они остановились, звеня оружием, а первый юноша галопом поскакал вперед, к костру, бросавшему отсветы на его энергичное лицо и прекрасную голову его коня. По странным мундирам я, конечно, сразу догадался, что это англичане. Я впервые видел англичан, но их уверенность и властность убедили меня в том, что все, что я о них слышал, сущая правда, и они превосходные противники. – Эй, эй! Что за игру вы тут затеяли? – закричал молодой офицер на довольно скверном французском. – Кто это зовет на помощь и что вы собираетесь с ним делать? Только тут я понял, что должен благословлять Обрайена, потомка ирландских

королей, который потратил несколько месяцев на то, чтобы научить меня английскому языку. Ноги мои были развязаны, мне осталось лишь высвободить из веревок руки. и я бросился вперед, схватил свою саблю, которая валялась у костра, и вскочил на лошадь бедного Видаля. Да, несмотря на раненую щиколотку, я, не вдевая ногу в стремя, одним махом очутился в седле. Прежде чем разбойники успели взвести курки пистолетов, я сорвал поводья с ветки и через секунду оказался перед английским офицером. – Я сдаюсь вам, сэр, – воскликнул я, хотя должен сказать, что мой английский был ничуть не лучше его французского. – Если вы взглянете на ту сосну налево, вы увидите, что делают эти негодяи с достойными джентльменами, попавшими им в лапы. Вспыхнувший костер осветил в это время несчастного Видаля – чудовищное зрелище, которое может привидеться только в кошмарном сне.

– О черт! – воскликнул молодой офицер.

– О черт! – подхватили остальные четверо. Это восклицание значит у них то же самое, что у нас «О боже!».

Взвизгнули пять сабель, выдернутые из ножен, и четверо всадников сомкнули ряд. Один из них, с шевронами сержанта, хлопнул меня по плечу.

– Дерись за свою шкуру, лягушатник, – сказал он. Ах, как было славно чувствовать между колен бока лошади, а в руке – саблю! Я взмахнул ею и закричал от восторга. Главарь герильясов выступил вперед, улыбаясь своей гнусной улыбкой. – Ваше превосходительство, конечно, понимает, что этот француз – наш пленник, – сказал он.

– Ты подлый разбойник, – ответил англичанин, замахиваясь на него саблей. – Какой позор, что у нас такие союзники! Клянусь богом, если бы лорд Веллингтон был того же мнения, мы бы вздернули тебя на первом же суку!

– А мой пленник? – вкрадчивым тоном спросил негодяй.

– Он поедет с нами в лагерь англичан.

– Позвольте шепнуть вам на ухо два слова, прежде чем вы уедете.

Он подошел к молодому англичанину и вдруг, повернувшись с быстротою молнии, выстрелил из пистолета мне в голову. Пуля скользнула по волосам и насквозь пробила мой кивер. Мерзавец, видя, что промахнулся, поднял пистолет и хотел было швырнуть его в меня, но тут английский сержант, сильно размахнувшись, почти снес ему голову саблей. Не успела кровь его пролиться на землю и не успело затихнуть последнее его проклятие, как вся шайка бросилась на нас, но несколько ударов наотмашь, несколько скачков, и мы, благополучно выбравшись с поляны, помчались по извилистой дороге, ведущей в долину.

Когда ущелье осталось далеко позади и перед нами расстилались открытые поля, мы решили остановиться и проверить состояние нашего маленького отряда. Что до меня, то хотя я был ранен и измучен, сердце мое колотилось от гордости, а грудь под мундиром распирало от радости, что я, Этьен Жерар, оставил этим разбойникам кое-какие памятки на всю жизнь. Клянусь честью, они еще крепко подумают, прежде чем поднять руку на кого-нибудь из Третьего гусарского полка. Я был в таком раже, что обратился к храбрым англичанам с маленькой речью и объяснил им, кого они выручили из беды. Я собирался еще сказать о доблести и отзывчивости отважных англичан, но офицер перебил меня. – Ладно, ладно, – сказал я. – Есть раненые, сержант?

– Лошадь рядового Джонса ранена пулей в бабку.

– Рядовой Джонс поедет с нами. Сержанту Холлидэю с рядовыми Харвэем и Смитом держать вправо, пока они не встретят кавалерийский пост немецких гусар. Трое англичан со звяканьем поскакали в сторону, а мы с офицером в

сопровождении ехавшего поодаль рядового на раненой лошади направились прямо к лагерю англичан. Очень скоро мы разговорились, так как с самого начала понравились друг другу. Он был знатного происхождения, этот храбрый малый; лорд Веллингтон послал его

разведать, нет ли признаков нашего наступления через горы. В бродячей жизни вроде моей есть одно преимущество: можно понабраться всяких знаний, которые отличают человека светского от всех прочих. Я, например, почти не встречал французов, которые умели бы правильно выговорить какой-нибудь английский титул. Если б я столько не странствовал, я бы не мог сказать с уверенностью, что этого молодого человека звали его светлость Милор сэр Рассел, Барт , – последнее слово означает титул, так что я всегда, обращаясь к нему, говорил «Барт», как испанцы говорят «дон». Мы ехали в лунном свете роскошной испанской ночи и говорили по душам, словно родные братья. Мы были одного возраста, оба из легкой кавалерии (его полк назывался «Шестнадцатый драгунский»), у обоих были одни и те же надежды и стремления. Ни с кем еще я не сходился так быстро, как с Бартом. Он сказал мне имя любимой девушки, с которой он встречался в каких-то садах под названием Воксхолл , а я, в свою очередь, поведал ему о малютке Корали из Оперы. Он вынул из-за пазухи локон, а я подвязку. Затем мы чуть не поссорились из-за гусар и драгун, потому что он неимоверно гордился своим полком, – если б вы видели, как он скривил губы и схватился за эфес сабли, когда я пожелал, чтобы его полк никогда не имел несчастья столкнуться с Третьим гусарским. Наконец, он заговорил о том, что у англичан называется спортом, и рассказал мне, как он терял деньги, споря, какой из петухов победит или который из дерущихся побьет другого, так что я только рот разевал от изумления. Я просто диву давался его готовности биться от заклад по любому поводу; когда мне случилось увидеть падающую звезду, он тотчас же предложил спорить на двадцать пять франков, что увидит больше падающих звезд, чем я, и унялся только после того, как я сказал, что мой кошелек остался у разбойников. Так мы дружески болтали, пока не начала заниматься заря, и тут мы вдруг услышали где-то впереди громкий ружейный залп. Местность была неровная, скалистая, и хотя ничего не было видно, я предположил, что началось генеральное сражение. Барт посмеялся надо мной и сказал, что залп донесся из лагеря англичан, где все солдаты каждое утро разряжают оружие, чтобы насыпать сухую затравку.

– Еще миля – и мы подъедем к сторожевым постам, – сказал он.

При этих словах я оглянулся и понял, что, пока мы скакали, увлекшись приятной беседой, драгун на хромой лошади так отстал, что потерялся из виду. Я поглядел по сторонам, но во всей этой обширной скалистой долине не было ни души, кроме меня и Барта, – оба мы, конечно, были хорошо вооружены и сидели на хороших лошадях. Я призадумался, так ли необходимо в конце концов, чтобы я проехал эту милю, которая приведет меня к британским сторожевым постам. Тут я хочу кое-что пояснить вам, друзья, чтобы вы не подумали, будто я мог совершить бесчестный или неблагородный поступок по отношению к человеку, который вызволил меня из разбойничьих рук. Вы должны помнить, что самый важный долг – это долг офицера перед своими солдатами. Надо вам также иметь в виду, что война – это игра с твердыми правилами, и за нарушение этих правил человек расплачивается своей честью. К примеру, дав слово, я был бы бесчестным негодяем, если бы подумывал о побеге. Но слова с меня никто не брал. От излишней доверчивости и к тому же зная, что сзади плетется хромая лошадь, Барт позволил мне стать с ним на дружескую ногу. Будь он моим пленником, я обращался бы с ним так же любезно, как и он со мной, но в то же время, отдавая должное его предприимчивой смелости, отобрал бы у него саблю и позаботился бы, чтобы рядом был хоть один страж. Я придержал лошадь и, объяснив ему все это, спросил, видит ли он тут хоть какое-нибудь нарушение чести.

Он задумался и несколько раз повторил то, что говорят англичане, когда хотят сказать «боже мой».

– Значит вы собираетесь удрать? – спросил он.

– Да, если у вас нет возражений.

– Единственное возражение, которое я могу придумать, – сказал он, – это то, что если вы попытаетесь бежать, я снесу вашу голову прочь.

– В эту игру могут играть двое, дорогой Барт, – ответил я.

– Тогда посмотрим, кто из нас играет лучше! – воскликнул он, обнажая саблю. Я вытащил свою, твердо решив, что не нанесу и царапины этому славному юноше и к тому же моему благодетелю.

– Имейте в виду, – сказал я, – вы говорите, что я ваш пленник, но с таким же основанием я могу утверждать, что вы мой пленник. Мы здесь одни, и хотя я не сомневаюсь, что вы превосходно владеете саблей, но вам вряд ли удастся устоять против лучшего клинка в шести бригадах легкой кавалерии.

В ответ он попытался нанести мне удар по голове. Я отразил удар и срезал половину его пера. Он сделал выпад, целясь мне в грудь. Я отвел его клинок и смахнул саблей другую половину пера.

– Перестаньте дурачиться, черт вас возьми! – крикнул он, когда я повернул лошадь в сторону.

– А зачем вы стараетесь проткнуть меня? – спросил я. – Вы же видите, что я не хочу рубиться.

– Прекрасно! – ответил он. – Но вы должны ехать со мной в лагерь.

– Ноги моей не будет в вашем лагере, – сказал я.

– Ставлю девять против четырех, что вы там будете! – воскликнул он и поскакал ко мне с саблей в руке.

Его слова навели меня на неожиданную мысль. Почему бы нам не решить дело каким-нибудь более приятным способом, чем рубка на саблях? Барт вынуждал меня ранить его, иначе он непременно ранит меня. Я ускользнул от его натиска, хотя конец его сабли был всего в каком-нибудь дюйме от моей шеи.

– Я хочу вам кое-что предложить! – крикнул я. – Давайте бросим кости, и пусть они решат, кто чей пленник.

Он улыбнулся. При такой любви к спорту это было вполне в его духе.

– Где ваши кости? – крикнул он.

– У меня их нет.

– У меня тоже. Зато есть карты.

– Пусть будут карты, – сказал я.

– А во что будем играть?

– Решайте сами.

– Тогда в экарте, это самая лучшая игра.

Я согласился и не мог удержаться от улыбки: во всей Франции не найдется и трех человек, которые бы сравнялись со мной в этой игре. Когда мы спешились, я сказал об этом Барту. Он тоже улыбнулся.

– Я считался лучшим игроком у себя на родине, – сказал он. Если при равных силах вы сумеете выиграть, значит, вы заслуживаете права на побег.

Мы привязали лошадей и уселись по обе стороны большого плоского камня. Барт вынул из кармана колоду карт; достаточно было взглянуть, как он тасует, чтобы убедиться, что передо мной далеко не новичок. Мы по очереди сняли, сдавать выпало ему.

Клянусь честью, при такой ставке стоило играть. Барт хотел еще добавить по сто золотых монет за игру, но что там деньги, когда от карт сейчас зависела судьба Этьена Жерара? Мне чудилось, будто все, кто был заинтересован в исходе этой игры – моя матушка, мои гусары, Шестой армейский корпус, Ней, Массена, даже сам император, – окружили нас кольцом в этой безлюдной долине. Боже, какой удар будет для всех и каждого, если мне не пойдет карта! Но я в себе не сомневался – как игрок в экарте я был не менее известен, чем как фехтовальщик,

и, кроме старого Буве из Бершенийского гусарского, который выиграл у меня шестьдесят шесть партий из ста пятидесяти, я обыгрывал всех подряд.

Первую партию я выиграл легко, хотя, признаться, мне шла карта, и мой противник ничего не мог поделать. Во второй партии я играл, как никогда, и хитростью выудил себе взятку, но Барт забрал все остальные, записал себе очко за короля и во второй сдаче остался ни при чем. Клянусь честью, мы вошли в такой азарт, что он бросил перед собой каску, а я ранец.

– Ставлю свою чалую кобылу против вашего вороного! – сказал он.

– Идет! – ответил я.

– Саблю против сабли.

– Идет! – ответил я.

– Седло, уздечку и стремена! – воскликнул он.

– Идет! – крикнул я.

Я заразился от него этим спортом. Я бы поставил моих гусар против его драгун, если бы их можно было закладывать.

И тут началась великая игра. О, он умел играть, этот англичанин, – его игра стоила такой ставки. Но я, друзья мои, я был великолепен! Из пяти очков, которые мне нужно было набрать, чтобы выиграть игру, я при первой же сдаче взял три. Барт грыз усы и барабанил пальцами по камню, а мне уже казалось, что я опять вместе со своими сорвиголовами. При второй сдаче ко мне пришел козырный король, но я потерял две взятки, и счет был четыре моих очка против его двух. Открыв карты следующей сдачи, я радостно вскрикнул. «Если с такими картами я не выиграю свою свободу, – подумал я, – значит, я только того и заслуживаю, что просидеть всю жизнь в плену». Дайте мне карты, хозяин, я разложу их на столе, и вы все поймете.

Вот что было у меня в руках: валет и туз треф, дама и валет бубен и король червей. Заметьте, что козыри были трефы, а мне не хватало лишь одного очка, чтобы получить свободу. Барт понимал, что наступила решающая минута; он расстегнул свой мундир. Я сбросил свой доломан на землю. Он пошел десяткой пик. Я взял ее козырным тузом. Одно очко в мою пользу. Чтобы сыграть правильно, надо было избавиться от козырей, и я пошел с валета. Он шлепнул его дамой, и мы оказались в равном положении. Он пошел восьмеркой пик; я мог только сбросить даму бубен. Но тут появилась семерка пик, и у меня на голове встали волосы дыбом. У каждого на руках осталось по королю. У меня были прекрасные карты, а он обыграл меня с худшими и получил два очка! Мне хотелось кататься по земле от злости! Да, в Англии в 1810-м здорово играли в экарте, это говорю вам я, бригадир Жерар!

Перед последней партией у нас было по четыре очка. Сейчас все решит сдача. Он отстегнул пояс, я сбросил портупею. Он держался хладнокровно, этот англичанин, и я старался быть таким же, но пот со лба щипал мне глаза. Сдавать должен был он, и, признаться, друзья мои, у меня так дрожали руки, что я едва собрал свои карты с камня. Но когда я на них взглянул, что же я увидел прежде всего? Короля, короля, спасительного короля треф! Я уже открыл было рот, чтобы заявить об этом, но увидел лицо моего партнера и слова застыли у меня на губах.

Он держал карты в руке, но челюсть его отвисла, а глаза с невыразимым ужасом и изумлением смотрели куда-то поверх моей головы. Я круто обернулся и тоже остолбенел. Совсем близко от нас, метрах в пятнадцати, не больше, стояли три человека. Один из них, хорошего роста, но не слишком высокий – примерно такой, как я, – был в темном мундире и маленькой треугольной шляпе, с белым перышком сбоку. Но меня ничуть не занимало, как он был одет. Его лицо, его впалые щеки, орлиный нос, властные голубые глаза и тонкий, прямой, словно ножом прорезанный, рот – все говорило о том, что это человек выдающийся; таких, быть может, один на миллион. Из-под насупленных бровей он бросил такой взгляд на беднягу Барта, что у того из ослабевших пальцев вывалились карты. Рядом стояли еще двое: один в

ярко-красном мундире, с твердым смуглым лицом, словно вырезанным из старого дуба, другой – дородный, красивый, с пышными бакенбардами, в голубом мундире с золотыми галунами. Немного поодаль три ординарца держали трех лошадей, а позади ожидал эскорт из нескольких драгун.

– Что это за чертовщина, Крауфорд? – спросил худощавый в темном.

– Слышите, сэр? – воскликнул человек в красном мундире. – Лорд Веллингтон желает знать, что все это значит?

Несчастный Барт принялся объяснять, что произошло, но каменное лицо не смягчилось.

– Хороши дела, Крауфорд, нечего сказать! – оборвал его Веллингтон. – В армии надо соблюдать дисциплину, сэр. Отправляйтесь в штаб и доложите, что вы арестованы. Барт сел на коня и, повесив голову, поехал прочь. Это было ужасно. Я не мог этого вынести. Я бросился к английскому генералу и стал молить его за друга. Я сказал, что я, полковник Жерар, воочию убедился в отваге этого молодого офицера. О, мое красноречие могло бы растопить самое холодное сердце; я сам растрогался до слез, но ничуть не растрогал его. Голос мой упал, я больше не мог произнести ни слова. – Сколько полагается у вас во французской армии нагружать на мула, сэр? – спросил он.

Вот и все, что флегматичный англичанин сказал в ответ на мою пылкую речь. Так он ответил на слова, от которых француз уже плакал бы у меня на плече. – Сколько полагается у вас нести мулу? – спросил человек в красном мундире. – Двести десять фунтов, – ответил я.

– Значит, вы очень плохо их нагружаете, – заметил лорд Веллингтон. – Отведите пленника к драгунам.

Драгуны окружили меня, а я – я сходил с ума при мысли, что выигрыш был мне обеспечен и сейчас я мог быть свободным. Я протянул карты генералу. – Взгляните, милорд! – воскликнул я. – Ставкой была моя свобода, и я выиграл, так как, сами видите, мне достался король!

Его худое лицо впервые смягчила слабая улыбка.

4. КАК БРИГАДИР ДОСТАЛСЯ КОРОЛЮ

Мюрат был, конечно, превосходным кавалерийским офицером, но слишком любил франтить, а франтовство часто портит хороших солдат. Лассаль тоже был отважным командиром, но его погубило вино и шальные выходки. Но я, Этьен Жерар, никогда не грешил чрезмерным щегольством и в то же время не позволял себе пьянствовать – разве только по случаю окончания кампании или встречи со старым товарищем по оружию. Поэтому если бы не моя скромность, я мог бы сказать, что был одним из самых достойных офицеров в кавалерии. Правда, я так и не пошел дальше командира бригады, но, так ведь ни для кого не секрет, что далеко пошли только те, кому выпала удача участвовать в самых первых кампаниях императора. Кроме Лассаля, Лабо и Друэ, я, пожалуй, не помню генерала, который не стал бы известен еще до Египетского похода. Даже я, при всех моих блистательных качествах, дослужился только до бригадира да еще имею особую почетную медаль, которую я получил из рук самого императора и храню дома в кожаном кошельке.

Но хотя я так и не поднялся выше, мои достоинства хорошо известны тем, кто со мной служил, а также и англичанам. Вчера я вам рассказывал, как я попался им в плен; после того они неусыпно сторожили меня в Опорто и уж, поверьте, делали все возможное, чтобы такой грозный противник не ускользнул из их рук. Десятого августа они посадили меня под стражей на транспортное судно и отправили в Англию, где до конца месяца держали в огромной тюрьме, которую специально для нас выстроили в Дартмуре! «L`hotel Francais, et Pension » – так мы ее называли, – сами понимаете, мы все были храбрыми солдатами и не вешали нос, даже попав в беду.

В Дартмуре содержались только те офицеры, которые отказались подписать обязательство о неучастии в войне против англичан; большинство же узников составляли

моряки и рядовые солдаты. Вы, наверное, спросите: почему я отказался дать такое обязательство и лишил себя возможности жить так же комфортабельно, как большинство моих собратьев-офицеров? На то у меня были две причины, и обе достаточно важные. Во-первых, я был крепко уверен в себе и не сомневался, что мне удастся бежать, Во-вторых, моя семья, кроме доброго имени, никогда не имела другого богатства, и я не мог бы заставить себя брать хоть что-нибудь из крошечного дохода моей матушки. С другой стороны, годится ли, чтобы такого человека, как я, в английском провинциальном городишке затмевали тамошние обыватели или чтобы я, ухаживая за дамами, которые, конечно, стали бы ко мне льнуть, не имел ни гроша в кармане! Вот по этим причинам я и предпочел похоронить себя в ужасной Дартмурской тюрьме. Сейчас я хочу рассказать вам о моих приключениях в Англии, и вы увидите, оправдались ли слова лорда Веллингтона, сказавшего, что я достался английскому королю.

Сначала должен вам сказать, что если бы я не решил поведать вам о том, что приключилось со мной, я мог бы до утра рассказывать вам историю о Дартмуре и о диковинных вещах, которые происходили в этой тюрьме. Это было одно из самых странных мест на свете, ибо там, посреди необозримых пустошей, собралось семь или восемь тысяч людей, и все это были, как вы понимаете, воины, люди бывалые и мужественные. Тюрьму окружала двойная стена, и ров, и часовые, и стража, но, клянусь честью, разве можно держать людей взаперти, словно кроликов в клетке! Они бежали по двое, по десять, и по двадцать, и тогда начинали палить пушки, и мчались на розыски целые отряды, а мы, оставшиеся, смеялись, плясали и кричали «Vivee I`Empereur !», пока часовые, разозлившись, не наставляли на нас ружья. Тогда мы устраивали мятежи, и из Плимута присылали пехоту и орудия, а мы еще громче орали «Vivee I`Empereur!», словно надеясь, что нас услышат в Париже. В Дартмуре у нас были веселые минуты, и мы старались, чтобы тем, кто нас сторожил, тоже было нескучно.

Надо вам сказать, что у заключенных был свой Суд Справедливости, в котором разбирались преступления и назначалась кара. У нас карались воровство и ссоры, но строже всего – предательство. Когда я прибыл в Дартмур, там находился некий Менье из Реймса, который выдал пленных, задумавших бежать. В ту ночь из-за какой-то невыполненной формальности его не отделили от остальных узников и, как он ни плакал, ни выл, ни ползал на коленях, его оставили среди товарищей, которых он предал. Ночью состоялся суд, где обвинение произносилось шепотом, защитник говорил шепотом, у обвиняемого был во рту кляп, а судья был невидим. Утром, когда за предателем пришли с приказом об освобождении, от него почти ничего не осталось. Изобретательный был народ, эти узники, и умели управляться по-своему.

Мы, офицеры, однако, жили в отдельном флигеле и являли собой довольно пестрое общество. Нам оставили мундиры, и здесь были представлены все роды войск, которыми командовали Виктор, Массена или Ней, а некоторые сидели здесь с тех пор, как Жюно был разбит под Вимьерой. Здесь были егеря в зеленых мундирах, и гусары, вроде меня, и драгуны в синем, и уланы в мундирах с белой грудью, вольтижеры и гренадеры, артиллеристы и саперы. Но больше всего было морских офицеров, так как англичане чаще побеждали нас на морях. Я не понимал, в чем тут дело, пока мне самому не пришлось плыть из Опорто в Плимут; семь дней я лежал на спине и не смог бы шевельнуться, даже если бы на моих глазах похищали знамя нашего полка. Только из-за такого предательского шторма Нельсон и одержал над нами верх.

Не успел я прибыть в Дартмур, как начал строить планы, как бы выбраться оттуда, и можете мне поверить, что с моей сообразительностью, развитой вдобавок двенадцатью годами войны, я очень скоро нашел способ бегства.

Прежде всего надо вам сказать, что у меня было очень большое преимущество – я немножко умел говорить по-английски. Я выучился этому за несколько месяцев перед осадой Данцига у адъютанта Обрайена из Ирландского полка, потомка древнего королевского рода.

За небольшой срок я научился довольно бегло болтать – я вообще могу быстро усвоить все, что угодно, если уж захочу. Через каких-нибудь три месяца я мог не только объясняться, но и употреблять английские идиомы. Обрайен научил меня говорить «Разгрызи меня бог» – это все равно, что по-нашему «Ma foi » и еще: «Исчадие гада», что значит «Ventre bleu ». Не раз я видел, как англичане улыбались от удовольствия, слыша, что я говорю точь-в-точь, как они. Нас, офицеров, помещали по двое в камере, что мне не слишком нравилось, так как моим сожителем оказался высокий молчаливый малый по имени Бомон из полевой артиллерии, попавший в плен к англичанам под Асторгой.

Редко мне приходилось встречать человека, с которым я не мог подружиться, потому что и нрав и манера держаться у меня… ну, да вы сами знаете. Но этот Бомон никогда не смеялся моим шуткам, не сочувствовал моим горестям, – он сидел и смотрел на меня угрюмым взглядом, и в конце концов я начал думать, что после двух лет заключения он тронулся умом. Ах, как мне хотелось, чтобы вместо этой мумии со мной был старый Буве или кто-нибудь из моих товарищей-гусар! Но ничего не поделаешь, приходилось мириться и с таким компаньоном, к тому же было ясно, что никакой побег невозможен, если он не будет в нем участвовать, иначе что бы я мог сделать, постоянно находясь у него на глазах? Я заговорил о побеге сначала обиняками, потом напрямик, и мне показалось, что я убедил его действовать со мной заодно.

Я исследовал стены, исследовал пол и потолок, но сколько я их ни ощупывал и ни выстукивал, всюду они были одинаково толстыми и непроницаемыми. Дверь была железная, запиралась на замок с пружиной, в ней была маленькая решетка, сквозь которую дважды в ночь заглядывал часовой. В камере стояли две койки, две табуретки, два умывальника – и больше ничего. Мне и этого было достаточно – разве я привык к лучшему за двенадцать лет походной жизни? Но как мне выбраться отсюда? Каждую ночь я думал о своих пятистах гусарах, и мне снились страшные сны: то все мои гусары оказывались без сапог, то всех лошадей раздуло от отравы, то у них воспалились копыта или же все шесть эскадронов в присутствии императора перепутали строй. Я просыпался в холодном поту и снова начинал ощупывать и простукивать стены, ибо я знал, что нет трудности, которую нельзя преодолеть с помощью изобретательного ума и пары ловких рук.

Единственное окошко нашей камеры было так мало, что в него не пролез бы и ребенок; к тому же посредине оно было разделено толстым железным брусом. Как видите, в смысле побега оно сулило немного надежды, но я все больше убеждался, что наши попытки надо начинать именно с него. Словно для того, чтобы еще ухудшить дело, окошко выходило во двор для прогулок, обнесенный двумя высокими стенами. И все же, стоя за Рейном, пора говорить о Висле, как я сказал моему угрюмому товарищу. Поэтому я отломал от койки маленькую железку и принялся отбивать штукатурку вверху и у основания оконного бруса. Я трудился три часа подряд, потом, заслышав шаги тюремщика, бросался на койку и немного погодя снова принимался за работу, а через три часа опять делал перерыв. Бомон оказался столь медлительным и неуклюжим, что мне пришлось рассчитывать только на себя.

Я представлял себе, что за окошком меня ждет Третий гусарский полк, с литаврами и знаменами, с леопардовыми чепраками на конях. И тогда я работал как одержимый, пока моя железка не покрывалась засохшей кровью, словно ржавчиной. Так, ночь за ночью я долбил окаменевшую штукатурку и прятал куски в подушку, пока не настала минута, когда железный брус стал шататься; тогда я рванул его изо всех сил и выломал. Это было первым шагом к свободе.

Вы спросите меня, к чему все это, если в окошко не мог бы пролезть даже ребенок. Я вам отвечу. Выломав брус, я добыл сразу две вещи: инструмент и оружие. С помощью инструмента можно было расшатать камни, которыми было облицовано окно. Оружием я могу защищаться, когда вылезу через это окно. Итак, теперь я принялся за камни и долбил вокруг них заостренным концом бруса, пока не отбил всю известку. Само собой, днем я все убирал на

место, и тюремщик не видал на полу ни песчинки. Так прошло почти три недели, и наконец я высвободил камень, в неописуемом восторге вытащил его и в окошко, сквозь которое раньше виднелось четыре звезды, увидел целых десять. Теперь все было готово; я поставил камень на место, смазав его края жиром и сажей, чтобы скрыть трещины там, где прежде была известь. Через три ночи должна была скрыться луна, и это, конечно, было самое лучшее время для попытки к бегству. В том, что я спущусь во двор, я не сомневался; гораздо больше меня беспокоило, как я оттуда выйду. Слишком унизительно было бы после всех стараний снова оказаться в этой дыре, уже без всякой надежды, или же быть схваченным стражей, которая бросит меня в одну из сырых подземных камер, предназначенных для тех, кто пытался бежать. Я стал обдумывать всевозможные планы. Как вам известно, у меня никогда не было случая показать себя в качестве генерала. Иногда, после стакана-другого вина, я убеждаюсь, что способен придумывать самые неожиданные комбинации и что если бы Наполеон в свое время поручил мне армейский корпус, его судьба могла бы сложиться иначе. Но как бы то ни было, а что касается маленьких военных хитростей и смекалки, необходимой офицеру легкой кавалерии, то тут я могу потягаться с кем угодно. И вот тогда-то эти качества мне пригодились, и я не сомневался, что они меня не подведут.

Внутренняя стена, по которой мне предстояло вскарабкаться, была высотой в двенадцать футов, сложена из кирпичей и по верху утыкана железными шипами на расстоянии трех дюймов один от другого. Внешнюю стену я мог рассмотреть только мельком, раза два, когда ворота дворика для прогулок были открыты. Она, видимо, была такой же вышины и с такими же шипами наверху, от внутренней до внешней стены было больше двадцати футов, и у меня имелись основания полагать, что в этом промежутке часовых не было, они стояли у ворот. Однако я знал, что снаружи стена оцеплена солдатами. Видите, друзья, какой мне попался крепкий орешек, и раздавить его было нечем, кроме пары собственных рук.

Я возлагал все надежды на рост моего сотоварища, Бомона. Я уже говорил, что он был очень высок, не меньше шести футов росту, и казалось, что если я взберусь ему на плечи и как-нибудь зацеплюсь за острые железки, то смогу перелезть через стену. Но удастся ли мне перетащить потом грузного Бомона? Это был вопрос первостепенной важности, так как если я затеваю что-нибудь вместе с товарищем, то пусть даже я не питаю к нему нежных чувств, все равно ничто на свете не заставит меня покинуть его. Если я взберусь на стену, а он не сможет последовать за мной, я буду вынужден вернуться за ним. Впрочем, судя по всему, его это нисколько не тревожило, и я надеялся, что он уверен в своей ловкости.

Не менее важно было знать, какой часовой будет дежурить перед моим окошком в ту ночь, когда мы начнем осуществлять свою попытку. Часовых сменяли каждые два часа, чтобы не притуплялась их бдительность; я очень пристально наблюдал за ними каждую ночь из окошка и убедился, что они ведут себя по-разному. Одни были все время настороже, так, что даже крыса не могла пробежать через двор незамеченной; другие же думали только о своих удобствах и, опершись на ружье, сладко спали, словно у себя дома в пуховой постели. Среди них был один, неповоротливый толстяк, который, прикорнув в тени под стеной, так крепко спал все два часа, что не слышал даже, как я бросал из окошка к его ногам куски штукатурки. Нам повезло: этот часовой должен был дежурить от двенадцати до двух в ту ночь, на которую мы назначили побег. В последний день меня охватило такое сильное нервное возбуждение, что никак не мог взять себя в руки и беспрерывно бегал по камере, словно мышь в клетке. Мне чудилось, что вот-вот тюремщик обнаружит расшатанный железный брус или часовой заметит щель между стеной и камнем, которую я не мог прикрыть снаружи обитой известкой, как я это сделал внутри. А мой компаньон в это время сидел, нахохлившись, на краю своей койки, искоса поглядывал на меня и грыз ногти, словно что-то напряженно обдумывая.

– Мужайся, друг! – воскликнул я, хлопнув его по плечу. – Не пройдет и месяца, как ты снова увидишь свои пушки!

– Все это хорошо, – сказал он, – но куда ты подашься, когда очутишься на свободе?

– На побережье, – ответил я. – Храброму во всем удача, и я отправлюсь прямо в свой полк.

– Скорее всего ты отправишься прямо в подземную камеру или на дырявое судно в Портсмуте.

– Солдат не боится рисковать, – заметил я. – Только трус всегда рассчитывает на худшее.

Мои слова вызвали красные пятна на его землистых щеках, и я порадовался: впервые я заметил в нем какие-то признаки воодушевления. Он даже протянул руку к кружке с водой, словно хотел швырнуть ее в меня, но тут же пожал плечами и опять замолк, грызя ногти и хмуро уставясь в пол. Глядя на него, я невольно подумал, что, быть может, делаю полевой артиллерии плохую услугу, возвращая ей такого вояку. В жизни моей не было вечера, который тянулся бы так медленно. К ночи поднялся ветер, и чем больше сгущалась тьма, тем сильнее становились его завываний, и наконец над огромной пустошью разразился страшный ураган. Я глядел в окошко – нигде ни одной звезды, сплошные черные тучи низко летели над землей. Сквозь шорох и плеск хлынувшего дождя, сквозь вой и свист ветра я не мог расслышать шагов часового. «Если я его не слышу, – подумал я, – значит, и он меня вряд ли услышит». Сгорая от нетерпения, я дожидался минуты, когда надзиратель, совершая свой еженощный обход, заглянет в зарешеченное отверстие. Затем, вглядевшись в темноту и не увидев часового, который, без сомнения, забился куда-то от дождя и крепко спал, я решил, что настал наш час. Я вынул брус, вытащил камень и знаком предложил Бомону спускаться. – После вас, полковник, – сказал он.

– А ты не хочешь лезть первым?

– Лучше вы мне покажите дорогу.

– Ну что же, лезь за мной, только потише, если ты дорожишь жизнью.

В темноте я слышал, как у него стучат зубы, и подумал, что вряд ли можно найти более неподходящего партнера для такого рискованного дела. Тем не менее я схватил брус и, став на табуретку, просунул в окошко голову и плечи. Извиваясь, я постепенно высунулся наружу до пояса, как вдруг мой компаньон схватил меня за ноги и во весь голос закричал:

– На помощь! На помощь! Заключенный хочет бежать.

Ах, друзья мои, чего я только не перечувствовал в эту секунду! Разумеется, я сразу понял игру этого подлого существа. Зачем ему было карабкаться по стене и рисковать своей шкурой, когда Он может не сомневаться, что англичане даруют ему свободу и прощение за то, что он помешал побегу человека гораздо более выдающегося, чем он сам? Я и раньше чувствовал, что он трус и подлец, но не понимал всей глубины подлости, «на которую он способен. Тот, кто провел свою жизнь среди людей благородных и честных, не подозревает низости в другом, пока не столкнется с нею. Этот болван, видимо, не понимал, что погубил не меня, а себя. Я быстро пролез обратно в темноте и, схватив его за горло, дважды стукнул его железным брусом. При первом ударе он взвизгнул, как дворняжка, которой наступили на лапу. При втором он со стоном рухнул на пол. Затем я присел на свою койку и стал покорно ждать кары, которую придумают для меня тюремщики.

Прошла минута, другая – ни звука, кроме тяжелого, хриплого дыхания лежащего на полу бесчувственного негодяя. Быть может, среди рева бури его криков никто не услышал? Крохотная надежда через минуту стала казаться вероятностью, а еще через минуту перешла в уверенность. Ни в коридорах, ни во дворе не слышалось ни звука. Я вытер со лба холодный пот и спросил себя, что же делать дальше.

В одном только я был совершенно уверен. Человек на полу должен умереть. Если я оставлю его в живых, то очень скоро он может опять поднять тревогу. Я не смел зажечь свет и ощупью шарил в темноте, пока не наткнулся на что-то мокрое – это была его голова. Я занес тяжелый железный брус, но было нечто такое, друзья мои, что помешало мне опустить его. В пылу боя я убивал много людей – людей честных, к тому же и не причинивших мне никакого

зла. И вот передо мной лежал негодяй, мерзкое создание, недостойное жить на земле, пытавшееся сделать великую подлость по отношению ко мне, – и все же я не мог заставить себя размозжить ему череп. Так может поступить испанский разбойник или, какой-нибудь санкюлот из Фобур Сен-Антуан, но не солдат и благородный человек вроде меня.

Однако тяжелое дыхание Бомона внушило мне надежду, что он не так-то скоро придет в чувство. Поэтому я заткнул ему рот кляпом, разорвал одеяло на полосы и привязал его к койке – теперь вряд ли он сможет освободиться раньше следующего обхода тюремщика. Но передо мной возникла новая трудность: вы помните, что я рассчитывал на его рост, чтобы перебраться через стену. Я готов был сесть и заплакать от отчаяния, но меня поддержала мысль о моей матушке и об императоре. «Мужайся! – сказал я себе. – Для всякого другого это было бы катастрофой, но не так-то легко одолеть Этьена Жерара!»

Я принялся за работу. Взяв простыни, свою и Бомона, я разорвал их на полосы, сплел отличный канат и привязал его к середине железного бруса, который был больше фута длиной. Затем я спустился во двор; дождь лил, как из ведра, а ветер завывал еще громче прежнего. Я двигался вдоль тюремной стены, где тьма была чернее пикового туза, и не мог различить даже собственной руки. Я знал, что если не наткнусь на часового, то мне нечего его бояться. Дойдя до стены, огораживающей двор, я закинул вверх свой брус, и, к радости моей, он сразу же застрял между железными шипами. Я вскарабкался по канату, втащил его наверх и спрыгнул с другой стороны стены. Потом взобрался на вторую стену, но, сидя верхом на ней между двумя шипами, вдруг заметил, что в темноте внизу что-то блеснуло. Это был штык часового, блестевший так близко от меня (вторая стена была гораздо ниже первой), что, наклонясь, я мог бы отвинтить его от дула. Часовой, стараясь согреться, прижался спиной к стене и мурлыкал себе под нос песенку, не подозревая о том, что в нескольких футах от него отчаянный беглец готов поразить его в сердце его же собственным штыком. Я уже приготовился к прыжку, но тут часовой, ругнувшись, вскинул ружье на плечо, и я услышал, как зачавкала грязь у него под ногами: он пошел в обход. Я соскользнул с каната и, оставив его на стене, помчался что было духу по пустоши.

Боже, как я бежал! Ветер бил мне в лицо и гудел в ноздрях. Дождь барабанил по моей спине и свистом отдавался в ушах. Я падал в колдобины. Я натыкался на кусты. Я продирался сквозь колючую ежевику. Я задыхался, я был исцарапан до крови. Язык мой пересох, ноги налились свинцом, сердце стучало, как барабан. Но я все бежал и бежал. Однако я не терял головы, друзья. У меня была определенная цель. Наши беглецы всегда направлялись к побережью. Я же решил бежать в глубь страны, хотя говорил Бомону совсем иное. Я убегу на север, а они будут искать меня на юге. Вы, наверное, спросите, друзья мои, как я мог ориентироваться в такую темную ночь. Я отвечу: по ветру. Еще в тюрьме я заметил, что ветер дует с севера, и раз он бил мне в лицо, значит, я держался верного направления.

Так я бежал, пока впереди вдруг не показались два желтых огонька. Я на мгновение остановился, не зная, как быть дальше. На мне, как вы помните, был гусарский мундир, и в первую очередь мне представлялось необходимым раздобыть другую одежду, которая не выдавала бы меня с головой. Если это светились окна деревенского дома, то вполне вероятно, что там я могу найти то, что мне нужно. Я пошел прямо на огоньки, сокрушаясь, что оставил на стене свой железный брус, ибо решил драться насмерть, если меня схватят опять.

Но вскоре я обнаружил, что никакого дома там не было. Огоньки оказались двумя фонарями, висевшими по бокам кареты, и при свете их я увидел перед собой широкую дорогу. Притаившись в кустах, я разглядел, что карета запряжена двумя лошадьми, что возле них стоит маленький форейтор, а рядом на дороге валяется колесо. Все это, как живое, стоит у меня перед глазами, друзья: потные лошади, хилый юнец, держащий их за поводья, и большая, черная, блестящая под доедем карета на трех колесах. В окошке вдруг опустилось стекло и показалась шляпка, а под ней хорошенькое личико. – Что же делать? – с отчаянием в голосе сказала дама форейтору. – Сэр Чарльз, наверное, заблудился, и мне придется всю ночь сидеть

в этой пустыне! – Быть может, я смогу помочь вам, сударыня, – сказал я, выбираясь из кустов и выходя под свет фонарей. Женщина в беде – для меня дело святое, а эта к тому же была красива. Не забывайте, что, несмотря на чин полковника, мне было всего двадцать восемь лет от роду.

Боже, как она вскрикнула и как вытаращил на меня глаза форейтор! Разумеется, после долгого бега в темноте я в своем помятом кивере, покрытом грязью, и изорванном кустами ежевики мундире, с перепачканным лицом представлял собою не совсем тот тип незнакомца, которого хотелось бы встретить ночью посреди пустынной равнины. Все же, оправившись от неожиданности, она вскоре поняла, что я ее покорный слуга, и в се красивых глазках я прочел даже, что мои манеры и осанка произвели на нее некоторое впечатление.

– Прошу прощения за то, что я испугал вас, сударыня, – сказал я, – но я случайно услышал ваши слова и не мог удержаться, чтобы не предложить вам свои услуги. – При этом я поклонился. Вы знаете, как я умею кланяться, и поймете, как мой поклон действовал на женщин.

– Я вам очень обязана, мсье, – ответила она, – от самого Тавистока мы ехали по ужасной дороге, и в конце концов у нас отвалилось колесо, и мы совершенно беспомощны в этих пустынных местах. Мой муж, сэр Чарльз, пошел искать людей, и боюсь, что он заблудился.

Я хотел было наговорить ей утешительных слов, как взгляд мой упал на лежавший рядом с дамой черный дорожный плащ, отделанный серой смушкой, – именно то, что мне было нужно, чтобы скрыть свой мундир. Правда, я почувствовал себя грабителем с большой дороги, но что прикажете делать? Необходимость не знает законов, а я находился во вражеской стране.

– Это, очевидно, плащ вашего мужа, сударыня, – сказал я. – Вы, надеюсь, простите меня, но я вынужден… – И я вытащил плащ через окошко кареты. Трудно было вынести выражение ее лица, на котором отразились изумление, испуг и отвращение.

– О, я ошиблась в вас! – воскликнула она. – Вы хотите меня ограбить, а не помочь! У вас вид благородного человека, а между тем вы хотите украсть плащ моего мужа!

– Сударыня, – сказал я, – умоляю вас, не осуждайте меня, пока не узнаете всего. Мне этот плащ совершенно необходим, но если вы будете добры сказать, кто этот счастливец, ваш муж, я обязуюсь прислать плащ обратно.

Лицо ее чуть-чуть смягчилось, но все же она старалась держаться сурово. – Мой муж, – ответила она, – сэр Чарльз Мередит, он едет в Дартмурскую тюрьму по важному государственному делу. Прошу вас, сэр, идти своей дорогой, и не брать ничего, что принадлежит ему.

– Из всего, что ему принадлежит, я завидую только одному, – сказал я. – И вы уже вытащили это из окошка! – воскликнула она.

– Нет, – ответил я, – оставил сидеть в карете.

Она рассмеялась искренне, как это умеют англичане.

– Если бы вы вместо того, чтобы делать комплименты, вернули плащ моего мужа… – начала она.

– Сударыня, – сказал я, – вы просите невозможного. Если вы разрешите мне войти в карету, я объясню вам, почему этот плащ мне так необходим.

Одному богу ведомо, какие глупости я мог бы натворить, если бы откуда-то издалека не донеслось слабое «эй», на которое тотчас же откликнулся маленький форейтор. И вот уже в темноте сквозь дождь замаячил тусклый свет фонаря, быстро приближавшийся к нам.

– Мне крайне жаль, сударыня, что я вынужден вас покинуть, – сказал я. – Передайте вашему мужу, что я буду очень бережно обращаться с его плащом. – Но как я не спешил, все же я рискнул на секунду задержаться, чтобы поцеловать ручку дамы, которую она отдернула, восхитительно притворившись оскорбленной моим нахальством. Фонарь был уже совсем

близко, а форейтор, видимо, намеревался помешать моему бегству, но я сунул драгоценный плащ под мышку и бросился в темноту. Теперь моей задачей было уйти как можно дальше от тюрьмы за те часы, что оставались до рассвета. Повернувшись лицом к ветру, я бежал, пока, выбившись из сил, не рухнул на землю. Отдышавшись в кустах вереска, я снова пустился бежать, пока у меня не подогнулись колени. Я был молод и крепок, у меня были стальные мускулы и тело, закаленное двенадцатью годами походов и сражений. Поэтому я мог выдержать еще три часа такого бешеного бега, все так же, как вы понимаете, держась против ветра. И через три часа я высчитал, что от тюрьмы меня отделяет почти двадцать миль. Близился рассвет, и, забравшись в заросли вереска на вершине небольшого холма, которыми изобилует эта местность, я решил переждать здесь до вечера. Спать под ветром и дождем для меня было не внове, и, закутавшись в плотный теплый плащ, я вскоре крепко заснул.

Но это был тяжелый, не освежающий сон. Я метался, борясь с отвратительными кошмарами, в которых все складывалось для меня самым худшим образом. Помню, под конец мне приснилось, будто я атакую несокрушимое каре венгерских гусар с одним лишь эскадроном, на загнанных конях – вроде того, как это было со мной под Эльхингеном. Я привстал на стременах и крикнул «Vive I`Empereur!», и мои гусары откликнулись громким криком «Vive I`Empereur!». Я вскочил со своего ложа; этот крик все еще отдавался в моих ушах. Протирая глаза, я спрашивал себя, не сошел ли я с ума, ибо уже наяву услышал те же слова, которые громко и протяжно выкрикивали пятьсот глоток. Я выглянул из-за кустов, и в неясном утреннем свете глазам моим представилось то, что я меньше всего на свете ожидал или хотел бы увидеть.

Передо мной была Дартмурская тюрьма! Ее уродливая, мрачная громада высилась всего в какой-нибудь восьмушке мили от меня. Если бы я пробежал в темноте еще несколько минут, я бы уткнулся кивером в ее стену. Это зрелище так меня ошеломило, что я не сразу сообразил, что произошло. Затем я все понял и в отчаянии заколотил кулаками по голове. За ночь ветер переменился и стал уже не северным, а южным, а я, стараясь держаться против ветра, пробежал десять миль вперед и десять миль назад, вернувшись туда, откуда и вышел. Я вспомнил, как я торопился, как стремительно бежал, падал, прыгал, и все это показалось мне таким смешным, что отчаяние мое вдруг как рукой сняло, и я, упав под кусты, хохотал, пока у меня не заболели бока. Затем я завернулся в плащ и всерьез задумался над тем, что делать дальше. За свою бродячую жизнь я научился одному, друзья мои, – никакую неудачу не считать бедой, пока не увидишь, чем она кончится. Разве каждый час не приносит чего-то нового? Вот и тогда я понял, что моя ошибка сослужила мне службу не хуже самой тонкой хитрости. Мои преследователи, естественно, начали поиски с того места, где я завладел плащом сэра Чарльза Мередита, и из своего укрытия я видел, как они мчались туда по дороге. Никому из них и в голову не приходило, что я мог повернуть обратно и сейчас лежу за кустами в маленькой выемке на вершине холма. Пленники, конечно, уже проведали о моем побеге, и весь день над равниной гремели ликующие крики, разбудившие меня поутру и звучавшие как выражение сочувствия и товарищеской поддержки. Они и не подозревали, что на вершине горки, которая видна из окошек тюрьмы, лежит их товарищ, побег которого был для них праздником. А я, я глядел вниз на толпы обезоруженных воинов, которые расхаживали по тюремному двору или, собравшись маленькими группками, оживленно жестикулировали, обсуждая мой успешный побег. Однажды я услышал крики возмущения: два тюремщика вели по двору Бомона с забинтованной головой. Не могу описать, какое удовольствие доставило мне это зрелище: я убедился, что, во-первых, я его не убил, а во-вторых, что остальным доподлинно известно все, что произошло. Впрочем, меня слишком хорошо знали, и вряд ли кто-нибудь заподозрил, будто я мог бросить товарища.

Весь этот долгий день я лежал за кустами, прислушиваясь к звону колокола, отбивавшего внизу часы.

Карманы мои были полны хлеба, который я сберег от своего тюремного пайка, а обыскивая одолженный плащ, я нашел серебряную фляжку с превосходным коньяком, разведенным водой, так что я мог провести там целый день, не испытывая никаких лишений. В карманах плаща я обнаружил еще красный шелковый платок, черепаховую табакерку и голубой конверт с красной печатью, адресованный начальнику Дартмурской тюрьмы. Все вещи я решил при первой возможности отослать обратно вместе с плащом. Письмо же меня несколько смутило: начальник тюрьмы был со мной любезен, и я считал бесчестным похищать его корреспонденцию. Я решил было положить письмо под камень на дороге на расстоянии выстрела от ворот тюрьмы, но это навело бы их на мой след, и я не видел иного выхода, как оставить письмо при себе, надеясь, что мне удастся как-нибудь переслать его адресату. А пока я надежно спрятал его в потайной внутренний карман.

На жарком солнце моя одежда просохла, и к наступлению сумерек я был готов пуститься в дальнейший путь. Заверяю вас, друзья, что на этот раз я не сделал никакого промаха. Ориентируясь по звездам – каждого гусара следовало бы учить этому, – я ушел от тюрьмы на восемь лиг. План мой заключался в том, чтобы раздобыть полный комплект одежды у первого же встречного, а потом пробраться к северному побережью, где много контрабандистов и рыбаков, а они не прочь получить вознаграждение, которое император давал тем, кто перевозил бежавших пленных через Ла-Манш. Я снял султан со своего кивера, чтобы он не бросался в глаза, но, несмотря на прекрасный плащ, все же побаивался, что рано или поздно меня выдаст мундир.

Когда занялась заря, я увидел справа реку, а слева голубоватые дымки маленького городка на равнине. Меня так и подмывало войти в этот городок – любопытно было поглядеть на некоторые обычаи англичан, каких нет ни в одной стране. Но сколь ни сильно было мое желание увидеть, как они едят сырое мясо и продают своих жен, появляться в городах, пока на мне мой мундир, было бы опасно. Кивер, усы и французская речь – все это могло погубить меня. Поэтому я продолжал путь на север, то и дело осматриваясь вокруг, но ни разу не заметив признаков погони. Около полудня я пришел в уединенную долинку, где стоял одинокий домик. Поблизости не было никаких других строений. Это был маленький, аккуратный дом с верандой и маленьким садиком, где копошились куры и петухи. Я залег в папоротник и стал наблюдать за домом: мне казалось, что именно здесь я мог бы получить то, что мне нужно. Хлеб мой был давно съеден, и после долгой ходьбы я страшно проголодался; поэтому я решил произвести небольшую разведку, а потом войти в домик, предложить обитателям сдаться и добыть все, что нужно. Мне, пожалуй, могут дать там яичницу и цыпленка. При этой мысли у меня потекли слюнки.

Так я пролежал, стараясь догадаться, кто там живет, как вдруг из двери вышел молодой приземистый крепыш в сопровождении человека постарше, несшего две большие дубинки. Он протянул их своему спутнику, тот стал махать ими вверх и вниз и вращать с необыкновенной быстротой, Старший, стоя рядом, внимательно следил за ним, то и дело давая какие-то советы. Наконец крепыш взял веревку и стал прыгать через нее, как девочка через скакалку. Другой сосредоточенно следил за ним. Вы, конечно, понимаете, что я напрасно ломал себе голову, стараясь догадаться, кто они такие, и в конце концов решил, что один – врач, а другой – его пациент, подвергавшийся какомуто странному способу лечения. Так я лежал и дивился, глядя на них, а тем временем старший принес длинное плотное пальто и подал его младшему. Тот надел и застегнул его до самого подбородка. День был теплый, и потому это показалось мне еще более удивительным, чем то, что происходило прежде. «По крайней мере, – подумал я, – гимнастика окончена». Но не тут-то было: молодой человек, несмотря на тяжелое пальто, принялся бегать и случайно направился прямо в мою сторону. Его товарищ уже вошел в дом, и все складывалось как нельзя лучше. Я сниму с маленького крепыша одежду и побегу в какую-нибудь деревню, где можно будет купить еду. Цыплята, конечно, были очень соблазнительны,

но в доме по крайней мере двое мужчин, и, поскольку у меня не было оружия, пожалуй, лучше поскорее уйти отсюда.

Я неподвижно лежал среди папоротника. Вскоре топот бегущего послышался совсем рядом, и он оказался передо мной – в толстом пальто, со взмокшим от пота лицом. Он был плотного сложения, но маленького роста – такого маленького, что я испугался, что его одежда на меня не налезет. Я вскочил на ноги; остановившись передо мной, он воззрился на меня с величайшим изумлением.

– Лопни мои глаза! – воскликнул он. – Что за дух из бутылки? Из цирка, что ли? Таковы были его слова, хотя я не берусь объяснить, что он хотел этим сказать. – Прошу прощения, сэр, – сказал я, – но мне необходимо попросить вас отдать мне свою одежду.

– Отдать что?

– Вашу одежду.

– Вот умора-то! – сказал он. – Почему я должен отдавать вам свою одежду? – Потому что она мне нужна.

– А если я не отдам?

– Разгрызи меня бог, – сказал я, – тогда мне придется отнять ее силой. Он стоял передо мной, засунув руки в карманы, и на его гладко выбритом лице с квадратным подбородком появилось насмешливое выражение.

– Ах вот как, отнять, – сказал он. – Вы, как я погляжу, малый не промах, только должен вам сказать, что на этот раз вы попали пальцем в небо. Я знаю, кто вы такой. Вы – француз, сбежавший из той тюрьмы, это с первого взгляда видно. Но вы не знаете, кто я, иначе не стали бы выкидывать со мной такие шутки. Я – Бастлер из Бристоля, чемпион легкого веса, а сюда я приезжаю тренироваться.

Он поглядел на меня так, словно ожидал, что, услышав это сообщение, я буду как громом поражен, но я только усмехнулся и, покручивая усы, поглядел на него сверху вниз.

– Быть может, вы и храбрый человек, сэр, – ответил я, – но если я вам скажу, что перед вами полковник Этьен Жерар из Конфланского гусарского полка, вы поймете, что должны отдать вашу одежду без всяких разговоров.

– Послушайте-ка, мусью, прекратите это! – воскликнул он. – Не то я вам задам перцу!

– Раздевайтесь, сэр, сию же минуту! – закричал я, угрожающе наступая на него. Вместо ответа он сбросил свое теплое пальто и, глядя на меня с непонятной улыбкой, стал в странную позу: одну руку выбросил вперед, другую положил на грудь. Я и понятия не имел о способах кулачного боя, который так любят эти люди; вот на лошади или пеший, но с клинком в руках я всегда могу постоять за себя. Но вы понимаете, солдату иной раз не приходится выбирать способ боя; как говорится, с волками жить – по-волчьи выть, и в этом случае так оно и было, Я кинулся на него с воинственным криком и пнул его ногой. В ту же секунду обе мои ноги взлетели кверху, в глазах замелькали вспышки, как в бою под Аустерлицем, и я ударился затылком о камень. Больше я ничего не помню.

Очнулся я на низенькой выдвижной койке, в пустой, почти лишенной мебели комнате. В голове моей гудели колокола, и, подняв руку, я нащупал над глазом шишку величиной с грецкий орех. Ноздри мои щекотал едкий запах; вскоре я обнаружил, что на лбу у меня лежит полоска бумаги, смоченной уксусом. На другом конце комнаты сидел этот страшный маленький крепыш, а его старший товарищ растирал ему голое колено какой-то мазью. Старший был, видимо, сильно не в духе и сердито выговаривал крепышу, сидевшему с мрачным видом.

– В жизни не видел ничего подобного! – говорил старший. – Я из кожи вон лезу, тренирую вас целый месяц, и когда я наконец сделал вас крепким, как репка, вы, вернейший победитель, за два дня до боя ввязываетесь в драку с каким-то иностранцем! – Ладно, ладно! Хватит меня

пилить! – огрызнулся Бастлер. Вы отличный тренер, Джим, но лучше бы вы поменьше меня ругали.

– Как же вас не ругать? – сказал Джим. – Если колено до среды не заживет, они скажут, что вы сговорились с противником, и черта с два вы тогда найдете кого-нибудь, кто бы на вас поставил!

– Сговорился! – проворчал крепыш. – Я выиграл девятнадцать боев, и никто до сих пор не осмеливался сказать при мне слово «сговор». А какого дьявола мне оставалось делать, когда этот малый хотел раздеть меня догола?

– Велика беда! Вы же знаете, что судья и стражники находятся в какой-нибудь миле отсюда. Вы могли бы натравить их на него и тогда, так же, как и сейчас. И спокойно получили бы обратно свою одежду.

– А, будь я неладен! – сказал Бастлер. – Не было случая, чтобы я прервал тренировку, но когда дело доходит до того, чтобы отдать одежду какому-то французишке, который не способен даже на круге масла сделать вмятину, то это уже слишком! – Подумаешь, какая ценность – ваша одежда! Да вы знаете, что один только лорд Рафтон поставил на вас пять тысяч фунтов? Когда в среду вы перепрыгнете через канаты, на вас будут висеть все эти пять тысяч до последнего пенни. Хорошенькое дело – явиться с распухшим коленом и историей о пленном французе!

– Откуда я знал, что он начнет лягаться?

– А вы думали, что он будет драться по всем правилам английского бокса? Будто вы не знаете, дуралей, что во Франции и понятия не имеют о том, как надо драться. – Друзья, – вмешался я, садясь в кровати, – я не очень-то много понял из того, что вы тут говорили, но сейчас вы сказали глупость. Мы, французы, так хорошо знаем, как надо драться, что побывали с визитом почти во всех столицах Европы и очень скоро придем в Лондон. Но мы деремся, как солдаты, понимаете, а не как уличные мальчишки в канаве. Вы бьете меня по голове. Я пинаю вас ногами. Это же детская игра. А вот если вы дадите мне саблю, а себе возьмете другую, я покажу вам, как мы умеем драться. Оба уставились на меня тупо, чисто по-английски.

– Что ж, очень рад, что вы живы, мусью, – сказал наконец старший. – Вы смахивали на куль с мукой, когда мы с Бастлером перетаскивали вас сюда. Голова у вас не настолько крепкая, чтобы выдержать удар сильнейшего бойца в Бристоле. – Он тоже задиристый малый, он набросился на меня, как боевой петух, – сказал Бастлер, потирая колено. – Я применил свой обычный удар справа налево, и он рухнул, как подкошенный. Я не виноват, мусью. Я же сказал, что задам вам перцу, если вы не прекратите.

– Зато вы можете всю жизнь хвастаться, что дрались с лучшим легковесом Англии, – сказал Джим, словно поздравляя меня. – А он к тому же сейчас в наилучшем состоянии, в расцвете сил, и тренирует его сам Джим Хантер.

– Я привык к сильным ударам, – сказал я, расстегивая мундир и показывая два шрама от пулевых ран. Потом я обнажил проколотую пикой щиколотку и шрам на веке, куда меня ткнул кинжалом испанский партизан.

– У него, видно, крепкая шкура, – заметил Бастлер.

– В среднем весе он был бы сущей конфеткой, – сказал тренер. – Его бы потренировать с полгода, и наши любители спорта просто с ума бы сошли. Жаль, что ему придется вернуться в тюрьму.

Последние слова мне пришлись очень не по душе. Я застегнул мундир и встал с кровати.

– С вашего разрешения я пойду дальше, – сказал я.

– Ничего не поделаешь, мусью, – ответил тренер. – Тяжело отправлять такого человека, как вы, в это гиблое место, но дело есть дело, а за вас обещана награда в двадцать фунтов. Стражники нынче утром уже искали вас здесь и, наверное, заглянут опять.

При этих словах сердце мое превратилось в кусок свинца.

– Неужели вы хотите выдать меня? – воскликнул я. – Клянусь честью

благородного француза, я вышлю вам вдвое больше в тот день, когда ступлю на французскую землю!

Но в ответ они только покачали головой. Я умолял, я доказывал, я говорил об английском гостеприимстве и о содружестве смельчаков, но с таким же успехом я мог распинаться перед двумя деревянными дубинками, что стояли у стены на полу. На бульдожьих лицах не было признаков сочувствия.

– Дело есть дело, мусью, – повторил старый тренер. – Кроме того, как я выведу Бастлера в среду на ринг, если его потянут в суд за помощь военнопленному и соучастие в побеге? Я должен беречь Бастлера и не желаю рисковать.

Итак, значит, конец всем моим стараниям и моей борьбе. Меня отведут назад, как глупую овцу, которая вырвалась из загона. Но плохо они меня знали, если вообразили, что я покорюсь такой судьбе. Я понял из их слов достаточно, чтобы догадаться, где их слабое место, и показал, как уже показывал не раз, что Этьен Жерар всего страшнее тогда, когда у него исчезает последняя надежда. Одним прыжком я очутился возле дубинок, схватил одну из них и завертел ею над головой Бастлера.

– Семь бед – один ответ! – воскликнул я. – В среду ты будешь никуда не годен! Бастлер прорычал какое-то ругательство и хотел было броситься на меня, но тренер обхватил его руками и удержал на стуле.

– Ни за что, Бастлер! – вскрикнул он. – Никаких ваших штучек, пока я рядом! Убирайтесь отсюда, мусью! Мы мечтаем увидеть вашу спину. Да бегите же, бегите, а то он вырвется!

Отличный совет, подумал я и ринулся в дверь, но едва я очутился на свежем воздухе, как голова у меня закружилась, и, чтобы не упасть, я должен был прислониться к стене. Вспомните, какие испытания я перенес: предательство Бомона, бурю, которая сбила меня с пути, день в мокрых зарослях вереска, терзания голода, еще одна бессонная ночь и наконец удар, полученный от этого коротышки, когда я пытался отнять у него одежду. Нечего удивляться, что даже моей выносливости наступил конец. Я стоял у стены в тяжелом плаще и моем бедном помятом кивере, опустив голову и закрыв глаза. Я сделал все, что в моих силах, и больше ничего не мог. Наконец меня заставил поднять голову стук копыт: шагах в десяти передо мной был седоусый начальник тюрьмы и с ним шестеро конных стражников.

– Итак, полковник, – с грустной улыбкой сказал он, – мы все-таки вас нашли. Если отважный человек сделал все, что мог, и потерпел неудачу, его благородство проявляется в том, как он принимает свое поражение. Что до меня, то я вынул из кармана письмо и, шагнув вперед, подал его с таким изяществом, какого начальник, наверное, и не видывал.

– К несчастью, сэр, я невольно задержал одно из ваших писем.

Он поглядел на меня удивленно и подал стражникам знак арестовать меня, затем сломал печать на конверте. По мере того, как он читал, лицо его принимало странное выражение.

– Это, должно быть, то самое письмо, что потерял сэр Чарльз Мередит, – сказал он.

– Оно было в кармане его плаща.

– И вы носили его при себе два дня?

– С позавчерашней ночи.

– И не поинтересовались его содержанием? Я всем своим видом показал, что таких вопросов не задают благородному человеку.

К моему изумлению, он вдруг разразился хохотом.

– Полковник, – сказал он, вытирая слезы, – право, вы задали себе и нам уйму ненужных хлопот! Разрешите прочесть вам письмо, которое вы держали при себе во время вашего побега.

И я услышал вот что:

«По получении сего вам надлежит освободить полковника Этьена Жерара из Третьего гусарского полка, который обменен на полковника Мэзона из конной артиллерии, находящегося сейчас в Вердене».

5. КАК БРИГАДИР ПОМЕРЯЛСЯ СИЛАМИ С МАРШАЛОМ

ОДЕКОЛОНОМ

Массена был худой, желчный, щупленький да еще кривой на один глаз (этого глаза он лишился после несчастного случая на охоте), но, когда он единственным своим глазом окидывал из-под треуголки поле боя, ничто не могло от него укрыться. Он, бывало, поставит батальон во фронт и с одного взгляда видит, где какая пряжка или пуговица не по форме. Офицеры и солдаты его недолюбливали, потому что он, как известно, был прижимист, а в армии любят, чтоб у командира душа была широкая. Но когда доходило до настоящего дела, его очень даже уважали и в бою не променяли бы ни на кого другого, кроме разве самого императора да еще Ланна, покуда он был жив. Ведь если он железной хваткой зажимал свою мошну, то вы, должно быть, помните, что настал день, когда он такой же железной хваткой зажал Цюрих и Женеву. Он держал позиции так же крепко, как свой денежный ящик, и требовалась немалая смекалка, чтоб заставить его выпустить из рук то или другое.

Когда он вызвал меня к себе, я обрадовался и сразу отправился в его штаб, потому что он всегда меня любил и ставил выше всех других офицеров. Служить под началом у этих старых, славных генералов было одно удовольствие: Они знали свое дело и умели отличить хорошего солдата от плохого. Он сидел один в своей палатке, уронив голову на руки и сморщившись так, словно ему только что поднесли подписной лист. Однако, увидев меня, он улыбнулся.

– Здравствуйте, полковник Жерар.

– Здравия желаю, господин маршал.

– Ну, как Третий гусарский полк?

– Семьсот доблестных бойцов на семистах боевых конях рвутся в дело. – А что ваши раны, зажили?

– Мои раны никогда не заживают, маршал, – отвечал я.

– Но почему же?

– Потому что я получаю все новые.

– Генералу Раппу надо опасаться за свои лавры, – сказал он, и лицо его сморщилось в улыбке. – У него двадцать одна рана от вражеских пуль и столько же от ножей и зондов Ларея. Я знал, что вы ранены, полковник, и последнее время щадил вас. – А это хуже всякой раны.

– Ну полно, полно! С тех пор, как англичане засели в этих проклятых укреплениях Торрес Ведрас, мы, в сущности, бездействуем. Вы не слишком много потеряли, пока были в плену в Дартмуре. Но теперь мы готовимся к походу.

– Будем наступать?

– Нет, напротив.

Должно быть, мое разочарование было написано у меня на лице. Как! Отступить перед этим нечестивым псом Веллингтоном, перед тем, кто с каменным лицом выслушал мои горячие слова, а потом отправил в свою страну, где нет спасения от туманов? При этой мысли я готов был заплакать.

– А что делать! – раздраженно воскликнул Массена. – Когда объявлен шах, приходится делать ход королем.

– Вперед, – ввернул я. Массена покачал седой головой.

– Эти позиции неприступны, – сказал он. – Генерал Сен-Круа убит, и мы понесли такие потери, что у меня не осталось резервов. И, кроме того, мы простояли здесь, в Сантарене, почти полгода. Во всей округе не осталось ни фунта муки, ни бутылки вина. Мы вынуждены отступить.

– Мука и вино есть в Лиссабоне, – настаивал я.

– Ах, вы говорите так, будто вся армия может передвигаться так же быстро, как ваш гусарский полк. Будь здесь Сульт со своей тридцатитысячной армией… Но нечего и ждать. Итак, я вызвал вас, полковник Жерар, дабы поставить в известность, что намерен поручить вам одно весьма необычное и важное дело.

Само собой, я навострил уши. Маршал развернул большую карту местности и положил ее на стол. Он разгладил ее своими маленькими волосатыми руками. – Вот здесь Сантарен, – показал он. Я кивнул.

– А здесь, в двадцати пяти милях к востоку, Алмейхал, знаменитый своими винами и большим аббатством.

Я снова кивнул; мне еще не было ясно, к чему он клонит.

– Вы слышали о маршале Одеколоне? – спросил Массена.

– Я служил со всеми маршалами, – сказал я, – но такую фамилию слышу в первый раз.

– Это прозвище, которое ему дали солдаты, – сказал Массена. – Вас не было в строю несколько месяцев, иначе мне не пришлось бы рассказывать вам про него. Он англичанин и принадлежит к очень знатному роду. А прозвище ему дали за аристократические привычки. Так вот, я посылаю вас в Алмейхал с визитом к этому вылощенному англичанину.

– Слушаюсь, маршал.

– С тем, чтобы вы повесили его на первом же дереве.

– Можете быть спокойны, маршал. Я лихо повернулся налево кругом, но Массена окликнул меня, не успел я выйти из палатки.

– Минутку, полковник, – сказал он, – Прежде чем выступить, вам не помешает ознакомиться с положением дел. Да будет вам известно, что этот маршал Одеколон – настоящее его имя и фамилия Алексис Морган – человек редкой изворотливости и храбрости. Он служил офицером в английской гвардии, но передернул за карточным столом, был разжалован в рядовые и вышел в отставку. Ему удалось собрать вокруг себя большой отряд из английских дезертиров, и он засел в горах. К нему присоединились французские солдаты, отставшие от своих частей, и португальские бандиты, так что теперь он стоит во главе пятисот людей. Он со своим отрядом захватил аббатство Алмейхал, разогнал монахов, укрепил обитель и разграбил всю округу. – Что ж, по нем давно веревка плачет, – сказал я и снова направился к двери. – Еще минутку! – остановил меня маршал, улыбаясь при виде моего нетерпения. – Самое худшее впереди. Не далее как на прошлой неделе в руки этих негодяев попала вдовствующая графиня Ла Ронда, самая богатая женщина в Испании, они захватили ее на перевале, когда она ехала от двора короля Жозефа навестить своего внука. Теперь она заточена в аббатстве, и единственное ее спасение в том, что она… – Бабушка? – высказал я предположение.

– Нет, в том, что она может заплатить крупный выкуп, – сказал Массена. – Итак, перед вами три задачи: спасти несчастную женщину, покарать негодяя и, если возможно, разрушить гнездо бандитов. А вот доказательство того, как я верю в вас: я могу дать вам для осуществления всего этого лишь полуэскадрон.

Клянусь, я не поверил своим ушам! Я-то полагал, что мне по крайней мере разрешат взять весь мой полк.

– Я дал бы вам больше, – сказал он, – но сегодня я начинаю отступление, а у Веллингтона такая сильная кавалерия, что мне дорога каждая сабля. Я не могу отпустить больше ни единого

человека. Сделайте все возможное и явитесь ко мне с рапортом в Абрантиш не позднее завтрашнего вечера.

Мне очень польстило, что он такого высокого мнения о моих способностях, но вместе с тем я был в некотором замешательстве. Мне предстояло спасти старую вдову, вздернуть на сук англичанина и разгромить банду из пятисот головорезов, имея на все про все полсотни людей. Но в конце концов ведь это полусотня конфланских гусар, которых поведет сам Этьен Жерар! Когда я вышел из палатки под теплое португальское солнце, уверенность вернулась ко мне, и я уже начал подумывать, а не ждет ли меня в Алмейхале та самая медаль, которую я уже давным-давно заслужил.

Можете быть уверены, что в свою полусотню я взял лучших из лучших. Все это были ветераны германских войн, некоторые имели по три нашивки, а большинство – по две . Возглавили их Удэн и Папилет, два лучших унтер-офицера в полку. Когда по моему приказу они построились в колонну по четыре, все как на подбор в серебристо-серых мундирах, на гнедых конях с чепраками из леопардовых шкур и маленькими красными султанами, сердце мое радостно забилось. Я смотрел на их обветренные лица с огромными усами, которые топорщились над ремешками киверов, с чувством радостной уверенности, и, между нами говоря, не сомневаюсь, что они испытывали то же чувство при виде своего молодого полковника, который на вороном боевом коне ехал впереди. Так вот, когда мы оставили позади лагерь и очутились на другом берегу Тахо, я выслал авангард и фланговые охранения, а сам остался во главе отряда. С холмов, окружающих Сантарен, мы, оглянувшись назад, увидели темные позиции армии Массена, где блестели и сверкали сабли и штыки, – это он выводил свои полки на исходный рубеж для отступления. К югу красными пятнами раскинулись английские передовые посты, а дальше виднелось серое облако, поднимавшееся над лагерем Веллингтона, – плотный маслянистый дым, в котором нашим изголодавшимся ребятам чудился густой запах кипящих походных котлов. Западнее голубым полукругом раскинулось море с белыми полосками английских парусов.

Поскольку мы ехали на восток, путь наш, как вы понимаете, лежал в стороне от обеих армий. Однако наши собственные любители легкой наживы и разведывательные дозоры англичан буквально наводняли местность, и мне с моим маленьким отрядом приходилось соблюдать крайнюю осторожность. Весь день мы ехали через пустынные холмы, у подножий которых зеленели распускающиеся виноградные лозы, но выше зелень сменялась однообразным серым покровом, а вершины зубцами торчали по горизонту, как хребет отощавшей клячи. Наш путь пересекали горные ручьи, бежавшие на запад, в Тахо, а один раз мы очутились у глубокой, бурной реки, через которую нам ни за что бы не перебраться, если б я не отыскал брод, приметив два дома, стоявшие напротив друг друга на обоих берегах. Каждый разведчик должен знать, что между такими домами непременно есть брод. Нам не у кого было спросить дорогу, так как нам не попался ни человек, ни зверь, ни другая живая тварь, только воронье тучами кружилось в небе. Уже на закате мы выехали в долину, поросшую по склонам могучими дубами. До Алмейхала оставалось никак не больше нескольких миль, и я счел за лучшее ехать лесом, так как весна была ранняя и густая уже листва обещала нас скрыть. Итак, мы ехали разомкнутым строем меж огромных стволов, как вдруг ко мне подскакал один из фланговых дозорных.

– Полковник, на той стороне долины англичане! – крикнул он, отдавая честь. – Кавалерия или пехота?

– Драгуны, полковник, – отвечал он. – Я видел, как блестят их шлемы, и я слышал лошадиное ржание.

Я остановил отряд, а сам выехал на опушку. Сомнений не было. Кавалерийский отряд англичан двигался в том же направлении, что и мы. Я увидел их красные мундиры и их оружие, которое блестело и сверкало меж деревьев. А когда они проезжали небольшую прогалину, я

окинул взглядом весь отряд и решил, что их силы примерно равны моим – не более полуэскадрона.

Вы уже знаете кое-что о моих скромных приключениях и согласитесь, что я принимаю решения быстро и так же быстро их выполняю. Но тут, не скрою, я колебался. С одной стороны, представился прекрасный случай завязать с англичанами кавалерийскую стычку. С другой – мне предстояло дело в Алмейхалском аббатстве, а то и другое сразу было мне не по силам. Если я потеряю хоть одного человека, то наверняка не смогу выполнить приказ. Я сидел в седле, подперев подбородок рукой, затянутой в перчатку, и следил за переливчатым блеском меж деревьев, как вдруг от вереницы красных мундиров отделился один из англичан, – он выехал на открытое место, указывая на меня и пронзительно улюлюкая, словно завидел лисицу. К нему присоединились еще трое, а горнист заиграл сигнал, после чего все они выехали из леса. Как я и думал, это был полуэскадрон, который теперь выстроился в две шеренги по двадцать пять человек, во главе со своим офицером, тем самым, что улюлюкал. Я мгновенно построил своих в тот же боевой порядок, и теперь нас, гусар и драгун, разделяли какие-нибудь две сотни ярдов травянистой земли. Эти ребята, в красных мундирах, в серебристых шлемах, высоких белых плюмажах, с длинными блестящими саблями глядели орлами; но при всем том, я уверен, они признали бы, что никогда еще не видели таких лихих легких кавалеристов, как полусотня конфланских гусар, стоявших с ними лицом к лицу. Конечно, вооружение у них было более основательное, да и вид, пожалуй, более нарядный, так как Веллингтон заставлял их надраивать всю металлическую амуницию, чего у нас не было в заводе. Однако всем известно, что английские мундиры слишком тесны, чтобы рубить сплеча, и это давало нам преимущество. Что же до храбрости, то глупые и несведущие люди всех наций обычно полагают, что их солдаты храбрее всех на свете. Нет такого народа, который не тешил бы себя этой мыслью. Но человек, повидавший с мое, знает, что особой разницы тут нет, и хотя дисциплина в армиях разная, все они одинаково храбры – одни только французы не имеют себе равных в доблести.

Что ж, пробка полетела в потолок, и бокалы уже были наготове, как вдруг английский офицер поднял саблю, видимо, посылая мне вызов, и поскакал галопом прямо на меня. Клянусь, нет на свете зрелища прекрасней, чем бравый кавалерист на добром коне! Я готов был замереть на месте и, затаив дыхание, смотреть, как он приближается с небрежным изяществом, держа саблю у крупа лошади, откинув назад голову с развевающимся плюмажем – живое воплощение молодости, силы и мужества; сиреневое вечернее небо было у него над головой, а позади него – вековые дубы. Но я не таков, чтобы торчать на месте и глазеть попусту. Быть может, у Этьена Жерара есть свои недостатки, но, клянусь честью, никто еще не посмел обвинить его в медлительности, когда надо действовать. Мой старый конь по кличке Барабан знал меня так хорошо, что рванулся вперед раньше, чем я успел тронуть повод.

На свете есть две вещи, которые я забываю не скоро: лицо хорошенькой женщины и ноги доброго коня. И пока мы скакали друг другу навстречу, я все твердил про себя: «Где я видел эти могучие чалые лопатки? Где я видел эти изящные бабки?» И вдруг, взглянув в смелые глаза, в лицо, которое вызывающе улыбалось, я все вспомнил и узнал – кого бы вы думали? Того самого человека, который спас меня от разбойников и поставил на карту мою свободу, того, чей полный титул был его светлость Милорд сэр Рассел Барт.

– Барт! – воскликнул я.

Он уже занес саблю для удара, и, так как его умение владеть оружием оставляло желать лучшего, я свободно мог проткнуть его по меньшей мере в трех местах. Но я поднял саблю для приветствия, и он, опустив свою, уставился на меня. – Хэлло! – сказал он. – Да это Жерар!

Глядя на него, можно было подумать, что у нас здесь назначено свидание. Я же готов был заключить его в объятия, если б он хоть немного обрадовался встрече. – А я-то думал, сейчас тут пойдет потеха, – сказал он, – Никак не ожидал, что подвернетесь вы.

Его разочарованный тон вызвал у меня раздражение. Вместо того чтобы обрадовать встрече с другом, он жалел, что лишился врага.

– С величайшей радостью разделил бы с вами эту потеху, дорогой Барт, – сказал я. – Но, право же, я не могу обратить оружие против человека, который спас мне жизнь. – Ну, об этом не стоит и вспоминать.

– Нет, позвольте. Я никогда не простил бы себе такой неблагодарности. – Вы слишком много значения придаете мелочам.

– Моя матушка мечтает только об одном – обнять вас. Если вы когда-нибудь будете в Гаскони…

– Лорд Веллингтон двигается туда с шестидесятитысячной армией.

– Что ж, в таком случае один из шестидесяти тысяч имеет надежду остаться в живых, – сказал я со смехом. – А пока вложите-ка саблю в ножны!

Наши кони стояли почти вплотную, голова к хвосту, и Барт, протянув руку, похлопал меня по колену.

– Вы добрый малый, Жерар, – сказал он. – Жаль только, что вы родились не по ту сторону Ла-Манша, по какую следовало.

– По ту сторону, – возразил я.

– Бедняга! – воскликнул он с таким искренним сочувствием, что я не выдержал и снова рассмеялся. – Но послушайте, Жерар, – продолжал он, – все это прекрасно, однако, сами понимаете, так не годится. Не знаю, что скажет на это Масссна, но наш главнокомандующий взвился бы до неба, если б мог нас видеть. Ведь и мы и вы посланы сюда не на прогулку.

– Что же вы предлагаете?

– Если помните, мы немного поспорили, кто лучше – гусары или драгуны. Моя полусотня шестнадцатого полка рвется в бой. И ровно столько же ваших молодцов ерзает от нетерпения в седлах. Если мы с вами встанем каждый на правом фланге своего отряда, то не попортим красоту друг другу, хотя маленькое кровопускание в этих краях можно считать дружеской услугой.

Мне подумалось, что он рассуждает вполне здраво. В тот миг мистер Алексис Морган, и графиня Ла Ронда, и Алмейхалское аббатство начисто вылетели у меня из головы, я позабыл обо всем, кроме ровной травянистой долины в предвкушении славной стычки, которая нам предстояла.

– Отлично, Барт, – сказал я. – Мы видели ваших драгун спереди. Поглядим теперь, как они выглядят со спины.

– Пари? – предложил он.

– Ставкой будет не более, не менее, как честь конфланских гусар, отозвался я. – Что ж, за дело! – воскликнул он. – Если мы вас побьем – отлично, если же вы нас – тем лучше для маршала Одеколона.

Услышав это, я с удивлением на него уставился.

– А при чем тут маршал Одеколон? – спросил я.

– Так прозывается негодяй, который засел вон в тех местах. Лорд Веллингтон послал меня и моих драгун, чтобы мы вздернули его по всем правилам. – Тысяча чертей! – вскричал я. – Да ведь Массена послал меня и моих гусар с тем же самым приказом.

Тут мы покатились со смеху и вложили сабли в ножны. Позади нас звякнула сталь – наши подчиненные последовали примеру своих командиров.

– Мы союзники! – воскликнул он.

– Да, на один день.

– Объединим же силы.

– Без всякого сомнения.

Итак, вместо того чтобы вступить в бой, мы повернули свои полуэскадроны и двинулись двумя колоннами вниз по долине; все кивера и шлемы были повернуты в сторону, и люди оглядывали своих соседей с головы до ног, как матерые волки с рваными ушами, которые научились уважать клыки друг друга. Большинство улыбалось во весь рот, но были с обеих сторон и такие, которые смотрели злобно и угрожающе, особенно английский сержант и мой унтер-офицер Папилет. Понимаете ли, у этих людей были давние привычки, и они не могли в один миг изменить весь свой образ мыслей. Кроме того, единственный брат Папилета был убит при Бусако. Что же до нас с Бартом, мы ехали впереди бок о бок и болтали о том, что произошло со времени той знаменитой партии в экарте, о которой вы уже знаете.

Я рассказал ему о своих приключениях в Англии. Удивительный народ эти англичане. Хотя Барт знал, что я участвовал в двенадцати кампаниях, все же я уверен, что заслужил настоящее уважение в его глазах лишь потому, что вступил в драку с Бастлером-Бристольцем. Между прочим, он сказал, что полковник, который председательствовал в военном трибунале, когда его судили за игру в карты с пленным, отвел от него обвинение в небрежении долгом, но чуть не засудил, заподозрив, что он не откозырял, прежде чем сойти с масти. Да, англичане, скажу я вам, преудивительный народ.

В конце долины дорога сворачивала и шла вверх по склону, а дальше зигзагами спускалась в следующую долину. Достигнув гребня, мы сделали привал; прямо перед нами, на расстоянии каких-нибудь трех миль, виднелся город, лепившийся у подножия горы, на склоне которой стояло единственное большое здание. Не приходилось сомневаться, что мы наконец видим то самое аббатство, где засела шайка негодяев, разогнать которых мы явились. И только тогда, думается мне, мы по-настоящему поняли, что нам предстоит, потому что это аббатство оказалось настоящей крепостью, и было ясно само собой, что кавалерию ни в коем случае не следовало посылать на выполнение подобной задачи.

– Это совсем не по нашей части, – сказал Барт. – Пускай Веллингтон и Массена сами идут на такое дело.

– Смелей! – отвечал я. – Пирэ взял Лейпциг с пятьюдесятью гусарами. – Будь у него драгуны, – возразил Барт со смехом, – он взял бы и Берлин. Но вы старше меня по чину. Ведите же нас, и посмотрим, кто первый дрогнет. – Ну что ж, – сказал я, – во всяком случае, не будем терять времени, так как мне приказано завтра вечером быть в Абрантише. Но сначала надо кое-что выяснить, и вот я вижу людей, у которых мы все узнаем.

У дороги стоял квадратный, чисто выбеленный домик – судя по ветке плюща над дверью, это была одна из придорожных таверн, где подкрепляют силы погонщики мулов. У входа висел фонарь, и при его свете мы увидели двух человек, одного в коричневом облачении капуцина, а другого в переднике, по которому мы и признали хозяина таверны. Они были так поглощены разговором, что мы подошли вплотную, прежде чем они нас заметили. Хозяин хотел было скрыться, но один из англичан схватил его за волосы и не дал улизнуть.

– Ради всего святого, пощадите меня! – возопил он. – Мой дом опустошен французами и разорен англичанами, а эти разбойники жгли мне ноги огнем. Клянусь святой девой, у меня в таверне нет ни денег, ни еды, добрый отец аббат, который умирает с голоду на моем крыльце, тому свидетель.

– В самом деле, мсье, – сказал капуцин на прекрасном французском языке, – то, что говорит этот достойный человек, истинная правда. Он одна из многих жертв теперешних жестоких войн, хотя его утрата – капля в море по сравнению с тем, что потерял я. Отпустите его, – добавил он, обращаясь к драгуну по-английски, – он слишком слаб, чтобы бежать, даже если б и захотел.

При свете фонаря я увидел, что этот монах был красивый темноволосый бородатый мужчина с ястребиным взглядом, да такой рослый, что его капюшон достигал ушей Барабана.

У него был вид человека, который перенес много страданий, но держался он, словно король, и мы вполне могли судить о его образованности, так как он с каждым из нас говорил на его родном языке так свободно, словно на своем собственном. – Не бойтесь, – сказал я дрожащему хозяину таверны. – Ну, а вы, святой отец, если не ошибаюсь, как раз тот человек, который может сообщить нам все необходимые сведения.

– Я весь в твоем распоряжении, сын мой. – Но, – добавил он со слабой улыбкой, – во время великого поста пища моя всегда скудна, а в этом году я питался так плохо, что вынужден просить корку хлеба, дабы обрести силы отвечать на вопросы. У нас в ранцах был двухдневный паек, и монаха тотчас накормили. Ужасно было видеть, с какой жадностью схватил он кусок сушеной козлятины, который я ему предложил.

– Время не ждет, так что перейдем прямо к делу, – сказал я. – Нам нужно узнать слабые места вон того аббатства и обычаи тех негодяев, которые там засели. Он выкрикнул какое-то слово, как мне показалось, по латыни, стиснул руки и закатил глаза.

– Молитва праведника всегда доходит до господа, – сказал он, – и все же я не смел надеяться, что на мою он откликнется столь быстро. Ведь перед вами несчетный аббат Алмейхала, которого вышвырнул вон этот сброд из трех армий по приказу своего еретика главаря. Ах, подумать только, что я потерял!

Голос его пресекся, и на глаза навернулись слезы.

– Ободритесь, святой отец, – сказал Барт. – Ставлю десять против четырех, что еще до завтрашнего вечера мы водворим вас обратно.

– Я пекусь не о своем благе, – сказал он, – и даже не о нашей бедной бездомной братии. Я пекусь о священных реликвиях, оставшихся в святотатственных руках этих разбойников.

– Держу пари, что они их и не заметили, – сказал Барт. – Но укажите нам, как проникнуть за ворота, и мы живо очистим ваше аббатство.

Добрый аббат в коротких словах сообщил нам все, что мы хотели знать. Но то, что он сказал, делало нашу задачу еще более трудной. Стены аббатства имели сорок футов в высоту. Нижние окна были забаррикадированы и по всему зданию проделаны амбразуры. В шайке соблюдалась военная дисциплина, часовые были слишком многочисленны, так что не было надежды захватить их врасплох. Теперь стало тем более очевидно, что здесь нужен батальон гренадеров и несколько штурмовых отрядов. Я поднял брови, а Барт принялся насвистывать.

– Была не была, придется попытаться, – сказал он. Наши люди уже спешились и, напоив коней, принялись за ужин. Я же вместе с аббатом и Бартом вошел в таверну, где мы стали обсуждать план действий.

У меня во фляжке было немного коньяку, который я разделил между всеми – его едва хватило омочить усы.

– Мне кажется, – сказал я, – что эти негодяи едва ли подозревают о нашем появлении. По дороге я не заметил никаких следов их разведки. Предлагаю такой план: мы спрячемся в лесу где-нибудь по соседству, а когда они откроют ворота, атакуем их и захватим врасплох.

Барт согласился, что трудно придумать лучший план, но когда мы стали обсуждать подробности, аббат объяснил нам, что тут немало препятствий.

– На целую милю от аббатства негде укрыть ни коней, ни людей. – сказал он. – А на горожан никак нельзя положиться. Боюсь, сын мой, что твой превосходный план едва ли удастся, так как эти негодяи не дремлют.

– Не вижу иного пути, – возразил я. – Конфланских гусар не так много, чтобы я решился повести полуэскадрон на штурм сорокафутовых стен, за которыми засело пятьсот пехотинцев.

– Я человек мирный, – сказал аббат, – и все же, быть может, я дам вам полезный совет. Я изучил этих негодяев и их обычаи. Никто не мог бы сделать это лучше, ведь я целый месяц

провел в этом уединенном доме, со скорбью в сердце взирая на аббатство, которое еще недавно было моим. И я скажу вам, что сделал бы я сам на вашем месте.

– Ради бога, говорите, святой отец! – вскричали мы в один голос.

– Да будет вам известно, что вооруженные отряды дезертиров из французской и английской армий непрерывно присоединяются к ним. Что же мешает вам с вашими людьми притвориться, будто вы – отряд дезертиров, и таким путем проникнуть в аббатство?

Я был поражен простотой этого плана и обнял доброго аббата. Однако Барт не был удовлетворен.

– Все это превосходно, – сказал он, – но если разбойники проницательны, как вы говорите, маловероятно, что они пустят в свое логово сотню незнакомых вооруженных людей. Из того, что я слышал о мистере Моргане, или маршале Одеколоне, или как там еще зовут этого разбойника, следует, что на это у него хватит соображения. – Ну так что ж с того! – воскликнул я, – Пошлем туда пятьдесят человек, а на рассвете они откроют ворота и впустят остальных, которые будут ждать снаружи. Мы еще долго обсуждали этот вопрос, проявив немалую предусмотрительность и благоразумие. Будь на месте двоих офицеров легкой кавалерии Массена с Веллингтоном, даже они не взвесили бы все более тщательно. Наконец мы с Бар-том согласились, что одному из нас с пятьюдесятью людьми следует отправиться в аббатство, притворившись, будто мы дезертиры, с тем чтобы ранним утром пробиться к воротам и впустить остальных. Правда, аббат по-прежнему утверждал, что опасно дробить силы, но, видя наше единодушие, он пожал плечами и уступил. – Я хочу знать только одно, – сказал он. Если этот маршал Одеколон, этот пес, этот душегуб, попадет к вам в руки, что вы с ним сделаете?

– Повесим его, – отвечал я.

– Ну нет, это слишком легкая смерть! – вскричал капуцин, и его темные глаза сверкнули жаждой мести. – Будь на то моя воля… но, увы, что за мысли у слуги господа нашего!

Он хлопнул себя по лбу, как человек, который чуть не помешался от несчастий, и выбежал из комнаты.

Нам предстояло решить еще один немаловажный вопрос – кто именно, англичане или французы, удостоится чести первыми войти в аббатство. Клянусь, требовать от Этьена Жерара, чтобы он в такую минуту кому-то уступил, – ну нет, это слишком! Но бедняга Барт так умолял меня, напирая на то, что он почти не участвовал в боях, тогда как я побывал в семидесяти четырех сражениях, что я наконец согласился пустить его вперед. Только мы скрепили уговор рукопожатием, как на дворе вдруг раздались такие крики, проклятия и вопли, что мы стремглав выбежали наружу, выхватив сабли, уверенные, что на нас напали разбойники.

Можете представить себе наши чувства, когда при свете фонаря, висевшего над крыльцом, мы увидели десятка два наших гусар и драгун, которые сбились в кучу, красные мундиры вперемежку с голубыми, шлемы с киверами, и яростно колотили друг друга. Мы бросились в самую гущу драки, умоляя, угрожая, хватая их за воротники и за сапоги со шпорами, и наконец растащили дерущихся. Они стояли, красные, окровавленные, сверля друг друга глазами и тяжело дыша, как колонна лошадей после десятимильной скачки. Только наши обнаженные клинки удерживали их от того, чтобы вцепиться друг другу в глотки. Бедняга капуцин стоял на крыльце в своем длинном коричневом одеянии, ломая руки и взывая к заступничеству всех святых. После строгого дознания выяснилось: он и в самом деле был невольной причиной переполоха, потому что, не зная, как близко к сердцу принимают такие вещи солдаты, сказал английскому сержанту, что, как ни жаль, его эскадрон уступает французскому. Едва эти слова сорвались с его губ, как драгун ударом кулака сбил с ног первого подвернувшегося под руку гусара, и в тот же миг все бросились друг на друга, как тигры. После этого мы уже не могли на них положиться, и Барт отвел своих в сад, а я своих – на задний двор, причем англичане угрюмо молчали, а наши грозили кулаками и бормотали проклятия –

каждый на свой лад. Коль скоро план действий был согласован, мы сочли за лучшее немедленно приступить к его исполнению, пока между нашими людьми по какой-либо причине не вспыхнула новая ссора. Барт со своими отправился в аббатство, предварительно сорвав кружева с рукавов и нашивки с воротника, а заодно сняв и пояс, так что он вполне мог сойти за рядового драгуна. Он объяснил своим подчиненным, что от них требуется, и, хотя они не орали и не размахивали саблями, как сделали бы мои на их месте, на их бесстрастных, чисто выбритых лицах было такое выражение, что я уже не сомневался в успехе. Мундиры их были расстегнуты, ножны и шлемы выпачканы грязью, а конская сбруя плохо подтянута, чтобы они были похожи на отряд дезертиров, в котором нет ни порядка, ни дисциплины. На другое утро, в шесть часов, им предстояло захватить главные ворота аббатства, и в тот же самый час мои гусары должны были подскакать туда. Мы с Бартом поклялись в этом друг другу, прежде чем он увел на рысях своих драгун. Папилет с двумя гусарами последовал за англичанами на некотором расстоянии и, вернувшись через полчаса, доложил, что после недолгих переговоров, во время которых англичан освещали фонарями из-за решетки, их впустили в аббатство. Итак, пока все шло хорошо. Ночь выдалась облачная, моросил дождь, что оказалось нам на руку, так как было менее вероятно, что нас обнаружат. Я выставил дозорных на двести ярдов во все стороны на случай внезапного нападения, а также для того, чтобы какой-нибудь крестьянин, который мог случайно на нас наткнуться, не донес об этом в аббатство. Удэн и Папилет должны были дежурить по очереди, а остальные удобно расположились вместе со своими конями в большом деревянном амбаре. Обойдя их и убедившись, что все в порядке, я растянулся на койке, которую отвел мне хозяин таверны, и заснул крепким сном.

Вы, без сомнения, знаете, что я слыву образцовым солдатом, и не только среди друзей и почитателей в этом городе, но и среди старых офицеров, которые участвовали в великих войнах и вместе со мной прошли через эти знаменитые кампании. Однако в интересах истины и скромности должен сказать, что это не так. Мне не достает некоторых качеств – разумеется, их крайне немного, но все же в огромной армии императора можно было найти людей, свободных от тех недостатков, которые отделяют меня от полного совершенства. О храбрости я не говорю. Пусть об этом скажут те, кто видел меня в деле. Я часто слышал, как солдаты толковали вокруг костра о том, кто самый храбрый человек в Великой армии. Одни говорили – Мюрат, другие – Лассаль, некоторые – Ней; но когда спрашивали меня, я только пожимал плечами и улыбался. Ведь было бы самонадеянностью, если б я ответил, что нет человека храбрее, чем бригадир Жерар. Однако факт остается фактом, и человек сам лучше всех знает свою душу. Но, кроме храбрости, есть другие достоинства, необходимые солдату, и одно из них – чуткий сон. А меня с самого детства трудно было добудиться, и это едва не погубило меня в ту ночь. Было, вероятно, около двух часов, когда я вдруг почувствовал, что мне нечем дышать. Я хотел крикнуть, но что-то не давало мне издать ни звука. Я сделал попытку встать, но мог только барахтаться, как лошадь, у которой подрезаны сухожилия. Мои лодыжки, колени и запястья были туго скручены веревками. Только глаза не были завязаны, и при свете фонаря я увидел в ногах своей койки – как вы думаете, кого? Аббата и хозяина таверны! Накануне вечером широкое белое лицо хозяина, казалось, не выражало ничего, кроме глупости и страха. Теперь же, напротив, каждая его черта дышала жестокостью и злобой. Никогда еще я не видел такого свирепого негодяя. В руке он сжимал длинный, тускло поблескивавший нож. Аббат же держался с прежним утонченным достоинством. Однако его монашеское облаченье было распахнуто, и под ним я увидел черный мундир с аксельбантами, какие носили английские офицеры. Наши глаза встретились, и он, опершись о деревянную спинку кровати, стал молча смеяться, навалившись на нее так, что она затрещала.

– Надеюсь, вы извините мой смех, дорогой полковник Жерар, – сказал он. – Дело в том, что, когда вы поняли свое положение, у вас было довольно забавное лицо. Без сомнения, вы превосходный солдат, но не думаю, чтобы вы могли поспорить в сообразительности с маршалом Одеколоном, как ваши люди любезно меня окрестили. Вы, очевидно, были не

слишком высокого мнения о моем уме, что доказывает, да будет мне позволено заметить, недостаток у вас проницательности. Право, разве только за исключением моего тупоголового соотечественника, английского драгуна, я в жизни не встречал человека, менее подходящего для подобных поручений.

Можете представить себе мои чувства и мой вид, когда я слушал эти наглые разглагольствования, преподносимые в той цветистой и снисходительной форме, благодаря которой этот негодяй и получил свое прозвище. Я лишен был возможности ему ответить, но они, видимо, прочли угрозу в моих глазах, потому что тот, который играл роль хозяина, шепнул что-то своему товарищу.

– Нет, нет, дорогой Шенье, живой он будет нам куда полезнее, – сказал тот. – Кстати, полковник, ваше счастье, что у вас такой крепкий сон, не то мой друг, у которого манеры несколько грубоватые, без сомнения, перерезал бы вам глотку, вздумай вы поднять тревогу. Советую вам не злоупотреблять его снисходительностью, потому что сержант Шенье, служивший ранее в Седьмом полку императорской легкой пехоты, человек куда более опасный, нежели капитан Алексис Морган из гвардии Его Величества. Шенье осклабился и погрозил мне ножом, а я всем своим видом постарался выразить презрение, которое испытал при мысли, что солдат императора может пасть столь низко.

– Думаю, вам будет любопытно узнать, – сказал маршал все тем же тихим, вкрадчивым голосом, – что за обоими вашими отрядами следили с той самой минуты, как вы покинули свои лагеря. Надеюсь, вы согласитесь, что мы с Шенье недурно сыграли свои роли. Мы сделали соответствующие распоряжения, дабы вас достойно встретили в аббатстве, хотя надеялись принять целый эскадрон вместо половины. Когда ворота надежно запираются за гостями, они попадают в очаровательный четырехугольный средневековый дворик, откуда нет выхода, а из сотни окон на них нацеливаются ружья. Им приходится выбирать: либо сдаться, либо получить пулю. Между нами говоря, у меня нет ни малейших сомнений, что у них хватило здравого смысла выбрать первое. Но, поскольку вы, естественно, в этом деле лицо заинтересованное, мы полагаем, что вы соблаговолите составить нам компанию и все увидите своими глазами. Думается, я могу вам обещать, что ваш титулованный друг ждет вас в аббатстве и физиономия у него такая же вытянутая, как и у вас.

Затем оба негодяя начали перешептываться, обсуждая, насколько я мог расслышать, как лучше всего обойти моих дозорных.

– Пойду погляжу, нет ли кого-нибудь за амбаром, – сказал наконец маршал. – А ты, мой добрый Шенье, оставайся здесь, и, если пленный вдруг окажет неповиновение, ты знаешь, как тебе поступить.

И мы остались вдвоем – этот подлый предатель и я. Он сидел в ногах моей кровати и точил нож о подошву сапога при свете единственной чадящей керосиновой лампы. А я – теперь, оглядываясь назад, я могу только удивляться, как я не сошел с ума от досады и угрызений совести, когда лежал беспомощный на кровати, не имея возможности крикнуть или хоть пальцем шевельнуть, зная, что мои пятьдесят храбрецов тут, рядом, но у меня нет способа дать им знать, в какое отчаянное положение я попал. Для меня не впервой было оказаться в плену; но чтобы меня схватили эти изменники и отвели в аббатство под градом насмешек, одураченного и обманутого их наглыми главарями, – этого я не мог перенести.

Нож мясника, сидевшего рядом со мной, причинил бы мне меньше страданий. Я незаметно напряг руки, потом ноги, но тот из этих двоих негодяев, который связал меня, был мастером своего дела. Я не мог пошевельнуться. Тогда я сделал попытку освободиться от носового платка, которым мне заткнули рот, но разбойник, сидевший подле меня, занес нож с таким угрожающим ворчанием, что мне пришлось оставить свои попытки. Я лежал неподвижно, глядя на его бычью шею, и думал, посчастливится-ли мне когда-нибудь подобрать для нее галстук, как вдруг услышал в коридоре, а потом на лестнице шаги: главарь возвращался. Какие

известия принес этот негодяй? Если он убедился, что похитить меня тайком невозможно, то, вероятно, прирежет на месте. Мне было все равно, что со мной станется, и я посмотрел на дверь с презрением и вызовом, которые так жаждал выразить словами. Но вы поймете мои чувства, дорогие друзья, когда вместо высокой фигуры и смуглого, насмешливого лица капуцина я увидел серый ментик и длинные усы моего доброго Папилета! Французский солдат в те времена слишком много повидал, чтобы удивляться. Одного взгляда на меня, связанного по рукам и ногам, и на зловещее лицо рядом со мной было для него довольно, чтобы понять, в чем дело.

– Ах ты, дьявол! – зарычал он, и в воздухе сверкнула выхваченная из ножен сабля.

Шенье бросился на него с ножом, но, поняв, чем тут пахнет, сразу же метнулся назад и всадил нож мне в сердце. Но я скатился на другую сторону кровати, прочь от него, и нож только царапнул мне бок, вспоров одеяло и простыню. А через мгновение я услышал стук упавшего тела, и почти в тот же миг что-то ударилось об пол – нечто более легкое, но твердое – и закатилось под кровать. Не стану рассказывать вам все ужасные подробности, друзья мои. Достаточно сказать, что Папилет был одним из лучших рубак в полку и сабля у него была тяжелая и острая. Она оставила красные следы у меня на запястьях и лодыжках, когда от перерезал мои путы.

Вытащив изо рта кляп, я первым делом коснулся губами иссеченной шрамами щеки сержанта. А вслед за тем с этих губ сорвался вопрос, все ли благополучно в отряде. Да, там все спокойно. Удэн только что сменил его, и он явился ко мне с рапортом. Видел ли он аббата? Нет, не видел. В таком случае надо окружить таверну, чтобы он не улизнул. Я поспешил к двери, чтобы отдать приказание, но тут услышал внизу, у входа, медленные, размеренные шаги и скрип ступеней на лестнице.

Папилет мигом сообразил, что к чему.

– Его надо взять живым, – шепнул я и толкнул сержанта в темноту по одну сторону двери, а сам притаился по другую.

Разбойник поднимался все выше, и каждый его шаг громким эхом отдавался в моем сердце. Едва на пороге показалось коричневое облачение, мы вдвоем набросились на главаря разбойников, как два волка на быка, и все трое с грохотом повалились на пол. Он дрался, как тигр, и обладал такой необычайной силой, что чуть не вырвался из наших рук. Трижды ему удавалось встать на ноги, и трижды мы снова валили его, пока Папилет не приставил к его горлу саблю. У него хватило здравого смысла понять, что игра проиграна, и он присмирел, а я связал его теми же самыми веревками, которыми недавно был скручен сам.

– Карты пересдали, милейший, – сказал я, – и вы сейчас убедитесь, что на этот раз у меня есть кое-какие козыри.

– Дуракам везет, отвечал он. – Что ж, может быть, это не так уж и плохо, иначе всем миром завладели бы умники. Я вижу, вы прикончили Шенье. Он был непокорным мерзавцем, и от него всегда омерзительно воняло чесноком. Вас не затруднит положить меня на кровать? Полы в этих португальских тавернах – малоподходящее ложе для человека, который буквально помешан на чистоте.

Я поневоле восхищался хладнокровием этого разбойника, сохранившего свою наглую снисходительность, несмотря на внезапную перемену ролей. Я послал Папилета за конвоирами, а сам стоял над пленником с обнаженной саблей, ни на миг не спуская с него глаз, потому что, должен признаться, испытывал уважение к его смелости и находчивости.

– Надеюсь, – сказал он, – ваши люди будут обращаться со мной подобающим образом.

– Вы получите по заслугам, будьте уверены.

– Большего я и не прошу. Вероятно, вам неизвестно, какого я высокого происхождения, но обстоятельства таковы, что я не могу назвать своего отца, не совершив предательства, или

свою мать, не опозорив ее. Я не могу требовать королевских почестей, подобные вещи гораздо приятней получать по доброй воле. Эти путы стянуты слишком туго. Не будете ли вы любезны ослабить их?

– Вы, очевидно, не слишком высокого мнения о моем уме, – заметил я, повторяя его собственные слова.

– Туше ! – воскликнул он, как раненый фехтовальщик. – Но вот и ваши люди, так что теперь вы можете без опасения ослабить веревки.

Я приказал сорвать с него облачение и держать его под надежной охраной. Так как уже брезжил рассвет, мне нужно было подумать, что предпринять дальше. Бедняга Барт вместе со своими людьми попал в хитро расставленную ловушку, и если б мы приняли все коварные предложения нашего советчика, в плену оказалась бы не половина, а все наши силы. Я должен, если это еще возможно, вызволить англичан. И, кроме того, нужно подумать о старой графине Ла Ронда. Что же касается аббатства, то, поскольку его гарнизон начеку, нечего и думать его захватить. Теперь все зависело от того, насколько они дорожат своим главарем. Исход игры решала эта единственная карта. И я сейчас расскажу вам, как смело и искусно я сыграл.

Едва рассвело, мой трубач протрубил сбор, и мы рысью выехали на равнину. Моего пленника везли верхом в самой середине отряда. На расстоянии выстрела от главных ворот аббатства росло большое дерево, под которым мы и остановились. Если б они распахнули ворота и бросились в атаку, я бы им показал; но, как я и ожидал, они предпочли остаться в аббатстве и усеяли стену во всю длину, осыпая нас насмешками, гиканьем и презрительным хохотом. Некоторые выпалили раз-другой из ружей, но, убедившись, что мы вне выстрела, вскоре перестали попусту тратить порох. Странное это было зрелище – вся эта смесь французских, английских и португальских, кавалерийских, пехотных и артиллерийских мундиров, обладатели которых вертели головами и показывали нам кулаки.

Но клянусь, весь этот гвалт сразу смолк, едва мы разомкнули ряды и показали, кого привезли! На несколько секунд воцарилось молчание, а потом раздался яростный и тоскливый вой! Я видел, что некоторые, как безумные, прыгают по стене. Должно быть, он был необыкновенный человек, наш пленник, если вся шайка так любила его. Я прихватил из таверны веревку, и теперь мы перекинули ее через нижний сук дерева.

– Позвольте мне, мсье, расстегнуть на вас воротник, – сказал Папилет с насмешливой почтительностью.

– Только при условии, если руки у вас безукоризненно чистые, – ответил наш пленник, и все мои гусары рассмеялись.

Со стены снова раздался вой, который сменился гробовым молчанием, когда петлю надели на шею маршала Одеколона. Потом пронзительно заиграла труба, ворота аббатства распахнулись, и оттуда выбежали трое, размахивая белыми тряпками. Ах, сердце мое так и подскочило от радости, когда я их увидел! И все же я не сделал ни одного шага им навстречу, так как хотел, чтобы они были единственной заинтересованной стороной. Я только велел своему трубачу махнуть в ответ платком, после чего три парламентера бегом подбежали к нам. Маршал, все еще связанный и с веревкой на шее, сидел в седле и слегка улыбался со скучающим видом, словно прятал свою скуку под этой улыбкой. Попади я сам в такое же положение, я не мог бы держаться лучше, а это, конечно, высшая похвала в моих устах.

Удивительную троицу составляли эти парламентеры. Один был португальский cacador в черном мундире; второй – французский егерь в светло-зеленом; третий – здоровенный английский артиллерист в синем с золотом. Все трое отдали честь, после чего француз заговорил.

– В наших руках тридцать семь английских драгун, – заявил он. – Мы торжественно клянемся, что все они повиснут на стене аббатства через пять минут после смерти нашего маршала.

– Тридцать семь! – воскликнул я, – Но ведь их пятьдесят один человек! – Четырнадцать было зарублено, прежде чем их успели взять под стражу. – А офицер?

– Он согласился отдать свою шпагу лишь вместе с жизнью. Это не наша вина. Мы спасли бы его, если б могли.

Бедняга Барт! Я встречался с ним дважды, и все же он крепко мне полюбился. Я всегда хорошо относился к англичанам из уважения к этому единственному моему английскому другу. Никогда в жизни я не видел более храброго человека и скверного фехтовальщика.

Сами понимаете, я не поверил ни единому слову этих негодяев. Я послал с одним из них Папилета, и он, вернувшись подтвердил, что все правда. Теперь надо было подумать о живых.

– Если я освобожу вашего главаря, отпустите ли вы тридцать семь драгун? – Мы освободим десять.

– Вздернуть его! – приказал я.

– Двадцать! – крикнул егерь.

– Довольно слов, – сказал я. – Тяните веревку!

– Всех! – закричал парламентер, когда петля захлестнулась на горле маршала. – С конями и оружием?

Они поняли, что со мной шутки плохи.

– Со всем, что у них есть, – угрюмо буркнул егерь.

– И графиню Ла Ронда тоже? – спросил я. Но здесь я столкнулся с куда большим упорством. Никакие угрозы с моей стороны не могли заставить их отпустить графиню. Мы затянули петлю. Тронули с места лошадь. Сделали все, только не вздернули маршала. Если б я сломал ему шею, ничто не спасло бы драгун. Поэтому я дорожил ею не меньше, чем они.

– Да позволено мне будет заметить, – учтиво сказал маршал, – что вы подвергаете меня риску схватить ангину. Не кажется ли вам, что, поскольку мнения по этому вопросу разделились, лучше всего будет узнать желание самой графини? Никто из нас, я уверен, не захочет действовать вопреки ее воле.

Лучшего нечего было и желать. Сами понимаете, я сразу ухватился за столь простое решение. Через десять минут она была уже перед нами, величественная дама, у которой из-под мантильи выглядывали седые букли. Лицо у нее было совсем желтое, словно отражало бесчисленные дублоны ее состояния.

– Этот господин, – сказал маршал, – желает препроводить вас в такое место, где вы больше никогда нас не увидите. В вашей воле решить, отправитесь ли вы с ним или же предпочтете остаться со мной.

В один миг она очутилась у его стремени.

– Мой дорогой Алексис, – воскликнула она, – ничто не может нас разлучить! Он взглянул на меня с насмешливой улыбкой на красивом лице.

– Кстати, вы допустили маленькую оговорку, дорогой полковник, – сказал он. – Кроме титула, носимого в силу обычая, не существует никакой вдовы Ла Ронда. Дама, которую я имею честь вам представить, – моя горячо любимая жена госпожа Алексис Морган – или вернее назвать ее мадам маршал Одеколон?

В этот миг я понял, что имею дело с самым умным и неразборчивым в средствах человеком, какого мне доводилось видеть. Я посмотрел на несчастную старуху, и душа моя исполнилась удивления и отвращения. А она, не отрываясь, смотрела на него с таким восторгом, с каким юный рекрут смотрел бы на императора.

– Что ж, пусть будет так, – сказал я наконец. – Отпустите драгун, и я уйду. Их привели вместе с лошадьми и оружием, и мы сняли петлю с шеи маршала. – До свидания, дорогой полковник, – сказал он. – Боюсь, что когда вы вернетесь к Массена, рапорт об исполнении его

приказа окажется далеко не блестящим, хотя, насколько мне известно, у него будет слишком много забот, чтобы думать о вас. Готов признать, что вы выпутались из трудного положения с ловкостью, какой я не предполагал. Кажется, я ничего не могу для вас сделать, прежде чем вы покинете эти места? – Только одно.

– Что же именно?

– Похоронить достойным образом молодого английского офицера и его людей. – Обещаю вам.

– И еще одно.

– Говорите.

– Уделить мне пять минут с обнаженной саблей, верхом на коне.

– Ай-ай! – сказал он. – Ведь тогда мне придется либо пресечь вашу блестящую карьеру в самом начале, либо проститься навек со своей костлявой супругой. Право, неразумно обращаться с такой просьбой к человеку, которому предстоит медовый месяц. Я собрал своих кавалеристов и построил их в колонну.

– Прощайте! – воскликнул я, помахав ему саблей. – В следующий раз вы от меня так легко не ускользнете.

6. КАК БРИГАДИР ПЫТАЛСЯ ВЫИГРАТЬ ГЕРМАНИЮ

Мне иногда кажется, что кое-кто из вас, послушав, как я рассказываю о своих скромных приключениях, уходит отсюда с мыслью, что я тщеславен. Невозможно ошибиться более жестоко, ибо я замечал, что настоящие солдаты всегда свободны от этого недостатка. Да, мне действительно порой приходилось изображать себя храбрым, порой – необычайно изобретательным и всегда на редкость интересным человеком, но ведь так оно и было на самом деле, и я должен преподносить факты, как они есть. Было бы недостойным жеманством, если бы я стал отрицать, что моя карьера всегда была блестящей. Но сегодня я расскажу вам о таком случае, о котором можно услышать лишь от человека, чуждого тщеславия. В конце концов офицер, достигший моего положения. может позволить себе говорить о том, о чем простой смертный предпочел бы умолчать. Итак, да будет вам известно, что после русской кампании остатки нашей несчастной армии были размещены на западном берегу Эльбы, где люди отогрели свою заледеневшую кровь и старались с помощью доброго немецкого пива нарастить на костях хоть немного мяса. Конечно, многого мы лишились безвозвратно, потому что, доложу я вам, три больших обозных фургона не свезли бы все пальцы рук и ног, которые наша армия потеряла во время отступления. И все же, отощавшие и искалеченные, мы горячо благодарили бога, когда вспоминали о наших бедных товарищах, которых оставили там, и о заснеженных полях – ах, эти ужасные, ужасные поля! По сей день, друзья мои, я не могу видеть рядом два цвета – красный и белый. Стоит мне увидеть мою красную фуражку на чем-нибудь белом, мне всю ночь снятся эти жуткие равнины, измученная, едва бредущая армия и алые пятна, которые сверкали на снегу позади нас. Не просите меня рассказать об этом, потому что при одном воспоминании о тех временах вино превращается для меня в уксус, а табак – в солому.

От полумиллионной армии, которая перешла Эльбу осенью двенадцатого года, к весне тринадцатого осталось всего около сорока тысяч пехоты. Но они были страшны, эти сорок тысяч: железные люди, которые ели конину и спали на снегу; к тому же они были преисполнены лютой ненависти к русским. Они продержались бы на Эльбе, покуда новая могучая армия, которую император собирал во Франции, помогла бы им перейти ее вновь.

Но кавалерия была в жалком состоянии. Гусар моего полка разместили в Борна, и, когда я в первый раз выстроил их, из глаз у меня потекли слезы. Ах, мои храбрецы и их добрые кони… Сердце мое разрывалось, когда я видел, в каком они состоянии. «Мужайся, – сказал я себе тогда, – они потеряли многое, но их любимый полковник с ними». И я принялся за дело, привел их в божеский вид и уже сколотил два хороших эскадрона, когда пришел приказ всем

кавалерийским полковникам немедленно отправляться во Францию, в полковые учебные лагеря, чтобы подготовить новобранцев и запасных лошадей для новой кампании.

Вы, без сомнения, подумаете, что я до смерти обрадовался случаю снова побывать на родине. Не стану отрицать, что меня обрадовала возможность свидеться с матушкой, да и некоторым девицам было бы приятно такое известие; но в армии я был нужнее. Я охотно уступил бы свое место тем, у кого были жены и дети, которых им, возможно, не придется больше увидеть. Однако какие могут быть рассуждения, когда получаешь голубую бумагу с маленькой красной печатью, и через час я уже отправился в долгий путь от Эльбы к Вогезам. Наконец для меня наступили спокойные времена. Война осталась за хвостом моей лошади, а перед ее мордой лежали мирные края. Так думал я, когда звуки труб замерли вдали и впереди зазмеилась длинная белая дорога, которая шла через равнины, леса и горы, и где-то там, за голубой дымкой на горизонте, раскинулась Франция.

Интересно, но в то же время утомительно ехать через армейские тылы. Во время сбора урожая наши солдаты отлично обходились без припасов, так как были приучены собирать зерно в полях, через которые проходили, и молоть его собственными руками на привалах. В такое время года и совершались те молниеносные броски, повергавшие Европу в изумление и ужас. Но теперь изголодавшимся людям надо было окрепнуть, и мне приходилось то и дело сворачивать в канаву, так как по дороге сплошным потоком двигались гобурские овцы и баварские волы тащили фургоны, груженные берлинским пивом и добрым французским коньяком. Кроме того, порой я слышал отрывистый грохот барабанов и пронзительный свист дудок, и мимо меня маршировали длинные колонны наших молодцов-пехотинцев в синих мундирах, выбеленных густым слоем пыли. Это были старые солдаты, набранные из гарнизонов наших крепостей в Германии, потому что новобранцы из Франции начали прибывать только в мае.

Ну, мне порядком надоело без конца останавливаться да сворачивать с дороги, и я был рад, когда добрался до Альтенбурга и увидел распутье, позволявшее мне свернуть на южную, менее оживленную дорогу. До самого Грейца мне почти никто не встретился, и дорога шла через дубравы и буковые рощи, так что ветки висели прямо над головой. Вам показалось бы странным, что гусарский полковник то и дело останавливает коня и любуется красотой пушистых ветвей и едва распустившихся зеленых листочков, но если б вам довелось полгода пробыть среди русских елей, вы бы меня поняли. Однако было вокруг и нечто такое, что радовало меня куда меньше, чем красота природы, – слова и взгляды людей в деревнях, затерянных среди лесов. С немцами мы всегда были в самых добрых отношениях, и за последние шесть лет они как будто не питали к нам никакой злобы за то, что мы несколько вольно распоряжались их страной. Мы были добры к мужчинам, а женщины были добры к нам, так что милая, уютная Германия стала для нас как бы второй родиной. Но теперь в поведении людей появилось что-то такое, чего я не мог понять. Встречные не отвечали на мои приветствия; лесники отворачивались, избегая моих взглядов, а в деревнях люди собирались кучками на дороге и неприязненно глядели мне вслед. Так поступали даже женщины, а в те дни я не привык видеть в женских глазах, устремленных на меня, что-нибудь, кроме улыбки. Особенно остро я почувствовал это в деревне Шмолин, всего в десяти милях от Альтенбурга. Я остановился на маленьком заезжем дворе, чтобы промочить горло и выполоскать пыль из глотки бедной Фиалки. Я имел обыкновение в таких случаях говорить комплимент девушке, которая мне прислуживала, а то и сорвать поцелуй, но эта не желала ни того, ни другого, а пронзила меня взглядом, как штыком. Когда же я поднял стакан за здоровье людей, которые пили пиво у двери, все они повернулись ко мне спиной, кроме одного, который воскликнул: «За вас, ребята! За букву „Т“!» При этом все осушили свои кружки и засмеялись, но смех их был совсем не дружелюбным. Я недоумевал и никак не мог взять в толк, что означает их грубое поведение, а когда выехал из деревни, увидел большое «Т», совсем недавно вырезанное на дереве. В то утро я видел эту букву уже не раз, но не обращал на нее внимание, однако после

слов этого малого в пивной понял, что тут дело нечисто. Мимо как раз проезжал почтенного вида человек, и я решил расспросить его.

– Не скажете ли мне, почтеннейший, что означает эта буква «Т»? – спросил я. Он как-то странно посмотрел на нее, потом на меня.

– Молодой человек, – сказал он, – «Т» – это совсем не то, что «Н».

Я не успел и рта раскрыть, как он дал лошади шпоры и во весь дух поскакал дальше.

Его слова поначалу не произвели на меня особого впечатления, но когда я рысью поехал дальше, Фиалка слегка повернула свою красивую голову, и в глаза мне бросилась медная сверкающая буква «Н» на уздечке. Это был инициал императора. А «Т» означало нечто обратное. Значит, за время нашего отсутствия в Германии что-то произошло, спящий гигант зашевелился. Я вспомнил злобные лица, которые видел по пути, и почувствовал, что если б я мог заглянуть в сердца этих людей, то привез бы во Францию странные вести. Тут мне еще больше захотелось поскорей получить запасных лошадей и увидеть за собой десять боевых эскадронов, скачущих под гром литавр. Пока эти мысли мелькали у меня в голове, я переходил с шага на рысь, а потом снова на шаг, как делает путник, которому предстоит дальняя дорога, поберегая резвую лошадь. Леса в тех местах редкие, но в одном месте у дороги лежала куча валежника; когда я проезжал мимо, оттуда раздался крик, и я, оглянувшись, увидел лицо, смотрящее на меня, – красное, разгоряченное лицо, какое бывает у сильно взволнованного человека. Приглядевшись, я узнал того самого путника, с которым час назад разговаривал в деревне.

– Приблизьтесь! – прошептал он. – Еще ближе! А теперь сойдите с коня и сделайте вид, будто поправляете стремя. Возможно, за нами следят, а если они узнают, что я вам помог, меня убьют.

– Убьют! – прошептал я. – Но кто?

– Tugendbund . Ночные мстители Лутцова. Вы, французы, сидите на пороховой бочке, и уже наготове спичка, чтобы поджечь порох.

– Как странно, – сказал я, делая вид, будто поправляю сбрую у лошади. – А что это такое – Tugendbund?

– Это – тайное общество, которое замыслило поднять большое восстание и выгнать вас из Германии, как выгнали из России.

– И что же означают эти буквы «Т»?

– Это условный знак. Мне следовало рассказать вам все еще в деревне, но я боялся, как бы там не увидели, что я с вами разговариваю. Поэтому я поскакал напрямик через лес, чтобы опередить вас, спрятал лошадь и спрятался сам.

– Я вам бесконечно обязан, – сказал я, – тем более что вы единственный из всех немцев, которых я встретил за сегодняшний день, отнеслись ко мне с вежливостью, какое требует простое приличие.

– Все, что у меня есть, я приобрел благодаря поставкам для французской армии, – сказал он. – Ваш император относился ко мне, как к другу. А теперь, прошу вас, поезжайте, мы и так уже слишком долго разговариваем. Но смотрите остерегайтесь ночных мстителей Лутцова!

– Это бандиты? – спросил я.

– Это лучшие люди Германии, – отвечал он. – Но, бога ради, поезжайте, я и так рисковал жизнью и своим добрым именем, чтобы вас предостеречь.

Что ж, если меня и раньше одолевали невеселые мысли, то можете себе представить, что я почувствовал после этого странного разговора с человеком, спрятавшимся в куче валежника. Его дрожащий, прерывистый голос, перекошенное лицо, глаза, которые так и шныряли по сторонам, и неприкрытый страх, охватывавший его всякий раз, как хрустнет ветка, произвели на меня еще большее впечатление, чем его слова. Ясно было, что он перепуган насмерть, и,

очевидно, не без причины, потому что вскоре после того, как мы расстались, я услышал далеко позади выстрел и крик. Может быть, это просто какой-нибудь охотник звал своих собак, но я никогда больше не видел человека, предупредившего меня об опасности, и не слышал о нем.

Теперь я был начеку и быстро проезжал открытые места, зато придерживал лошадь там, где могла оказаться засада. Дело было нешуточное, потому что впереди лежали добрых пятьсот миль немецкой земли. И все же я не принимал все это слишком близко к сердцу, потому что немцы всегда казались мне милыми, добродушными людьми, которые куда охотнее держат в руках чубук трубки, чем рукоятку сабли, – не из-за недостатка мужества, как вы понимаете, но потому, что у них беззлобные, открытые сердца и они предпочитают жить в мире со всеми. В то время я не знал, что под приветливой внешностью таится дьявольская злоба, столь же лютая и еще более упорная, чем у кастильца или итальянца.

В скором времени я убедился, что мне грозит нечто более серьезное, чем грубые слова и недружелюбные взгляды. Дорога начала подниматься вверх через безлюдную вересковую пустошь, а дальше исчезала в дубовой роще. Я поднялся примерно до половины склона и вдруг, взглянув вперед, увидел что-то блестящее в тени стволов, а потом на дорогу вышел человек в плаще, сплошь расшитом и изукрашенном золотом, которое сверкало на солнце, как огонь. Он, видимо, был сильно пьян, так как шатался и спотыкался, направляясь ко мне. Одной рукой он прижимал около уха конец большого красного платка, повязанного на шее.

Я остановил лошадь и смотрел на него не без отвращения, так как мне показалось странным, что человек в такой великолепной одежде разгуливает в подобном состоянии средь бела дня. А он не сводил с меня глаз и медленно шел вперед, время от времени останавливаясь и покачиваясь из стороны в сторону. Я уже было снова тронулся с места, как вдруг он громко возблагодарил Христа и, пошатнувшись, со стуком упал ничком на пыльную дорогу. При этом он простер руки вперед, и я увидел, что на шее у него вовсе не красный платок, а огромная зияющая рана, из которой на плечо свисал, как эполет, кусок кожи, покрытый темной запекшейся кровью.

– Боже мой! – воскликнул я, бросаясь к нему на помощь. – А я-то принял вас за пьяного!

– Я не пьян, я умираю, – сказал он. – Но благодарение господу, я встретил французского офицера, пока у меня еще есть силы говорить.

Я уложил его среди вереска и влил ему в рот немного коньяку. Вокруг нас раскинулась мирная зеленая равнина, и, сколько хватал глаз, нигде не было ни души, кроме искалеченного человека рядом со мной.

– Кто это сделал? – спросил я. – И откуда вы? Вы француз, но ваш мундир мне незнаком.

– Это мундир новой императорской почетной гвардии. Я маркиз Шато Сент-Арно, девятый в этом роду, который отдал свою жизнь ради Франции. За мной гнались ночные мстители Лутцова и ранили меня, но я спрятался вон там в кустарнике и ждал, надеясь, что мимо проедет француз. Сначала я не был уверен, друг вы или враг, но чувствовал, что смерть моя близка и надо рискнуть.

– Не теряй мужества, товарищ, – сказал я. – Мне довелось однажды видеть человека с куда более тяжелой раной, но он остался в живых и потом даже щеголял ею. – Нет, нет, – прошептал он. – Мои минуты сочтены. – С этими словами он взял меня за руку, и я увидел, что ногти у него уже синеют. – Но у меня на груди бумаги, которые вы должны немедленно доставить князю Сакс-Фельштейну в его замок Гоф. Он еще сохраняет нам верность, но княгиня – наш заклятый враг. Она хочет заставить его заявить во всеуслышание, что он тоже против нас. Если он это сделает, все колеблющиеся примкнут к нему, потому что он племянник прусского и двоюродный брат баварского короля. Эти бумаги, если только они попадут к нему в руки прежде чем он сделает решительный шаг, удержат его от этого. Вручите их ему сегодня же вечером, и, быть может, вы сохраните этим для императора всю Германию. Если бы подо мной не убили коня, я бы и раненный… – Он запнулся, его холодеющая рука сильней сжала

мои пальцы, отчего они стали такими же бескровными, как и его. Потом он застонал, голова его запрокинулась, и он испустил дух.

Что же, я неплохо начал свой путь на родину. Мне передали поручение, о котором я, в сущности, ничего не знал, но, по-видимому, оно было очень важно, и пренебречь им я никак не мог, хотя оно несколько задерживало меня. Я расстегнул мундир маркиза, великолепие которого, по замыслу императора, должно было привлечь молодых аристократов, из которых он надеялся сформировать новые полки своей гвардии. Из внутреннего кармана я извлек небольшой пакет, привязанный шелковой лентой и адресованный князю Сакс-Фельштейну. В углу размашистым небрежным почерком – я сразу узнал руку императора – было написано: «Срочно и чрезвычайно важно». Эти четыре слова были для меня равносильны приказу, точно его произнесли твердые губы и в глаза мне глянули холодные серые глаза. Мои гусары подождут лошадей, мертвый маркиз пускай лежит среди вереска, где я его оставил, но, если только мы с моей лошадкой не протянем ноги, бумаги будут доставлены князю сегодня же вечером. Я не боялся скакать по лесной дороге, так как в Испании убедился, что ехать через местность, где действуют партизаны, всего безопаснее сразу после их налета, а всего опаснее – когда вокруг тихо и мирно. Однако, справившись по карте, увидел, что Гоф расположен к югу от меня и кратчайший путь туда лежит по краю болот. Поэтому я свернул к болотам и не проехал и пятидесяти шагов, как в кустах раздались два выстрела, и пуля, пущенная из карабина, прожужжала возле моей головы, как пчела. Было ясно, что ночные мстители действуют более дерзко, чем разбойники в Испании, и, если я не сверну с дороги, моя миссия закончится недалеко от того места, где началась. Да, это была безумная скачка: я отпустил поводья и несся, утопая до самой подпруги в вереске и дроке, вниз с крутых холмов, через кусты, вверив целость своей шеи моей милой Фиалке. А она… Она ни разу не оступилась, не поскользнулась и скакала так быстро и уверенно, словно знала, что ее хозяин везет под ментиком судьбу всей Германии. Ну, а я… Я давно уже прослыл лучшим наездником во всех шести бригадах легкой кавалерии, но никогда еще я не скакал так, как в тот день. Мой друг Барт рассказывал мне, как у них в Англии охотятся на лисиц, но я настиг бы самую быстроногую лису. Дикие голуби у меня над головой не летели так прямо, как мчались мы с Фиалкой. Как офицер, я всегда был готов пожертвовать собой ради своих солдат, хотя император не похвалил бы меня за это, так как солдат у него было много, но только один… ну, словом, первоклассных кавалерийских командиров можно сосчитать по пальцам.

Но у меня была цель, которая стоила жертвы, и я заботился о своей жизни не больше, чем о комьях земли, летевших из-под копыт моей лошадки.

Уже темнело, когда я снова выехал на дорогу и поскакал к деревушке Лобенштейн. Но едва я очутился на мощенной булыжником дороге, как у моей лошади отлетела подкова, и пришлось вести ее деревенскую кузницу. Горн там был уже погашен, кузнец кончил работу, и я понял, что пройдет не меньше часа, прежде чем я смогу отправиться в Гоф. Проклиная задержку, я пешком пошел на постоялый двор и заказал на обед холодного цыпленка и вина. Гоф был всего в нескольких милях от этой деревни, и я мог надеяться, что мне еще до наступления ночи удастся доставить бумаги князю, а утром отправиться во Францию, везя на груди письма к императору. А теперь послушайте, что произошло со мной на постоялом дворе в Лобенштейне.

Принесли цыпленка и вино, и я после бешеной скачки жадно набросился на них, как вдруг услышал в прихожей у самой своей двери, невнятные голоса и шум. Сначала я подумал, что это крестьяне перессорились за стаканом вина, и предоставил им самим улаживать свои дела. Но вдруг сквозь угрюмое, низкое гудение голосов до моих ушей долетел звук, который поднял бы Этьена Жерара с одра смерти. Это был горестный женский плач. Нож и вилка со звоном полетели на пол, и в мгновенье ока я очутился в гуще толпы, которая собралась за дверью.

Там был толстомордый хозяин и его белобрысая жена, два конюха, горничная и несколько крестьян. Все они, женщины и мужчины, были красные и злые, а среди них, бледная, с глазами

полными ужаса, но с гордо поднятой головой, стояла самая прелестная женщина, какую когда-либо видел Этьен Жерар. Среди этих людей с грубыми, низменными лицами она казалась существом иной расы. Едва я показался на пороге своей комнаты, она рванулась мне навстречу, схватила меня за руку и синие глаза ее засияли радостью и торжеством.

– французский офицер и благородный человек! – воскликнула она. – Теперь мне нечего бояться!

– Да, мадам, вам нечего бояться, – сказал я и, не удержавшись, взял ее за руку, чтобы ободрить. – Вам стоит только приказать, я в вашем распоряжении, – добавил я, целуя ей руку в знак того, что мне можно верить.

– Я полька! – воскликнула она. – Графиня Палотта. Они набросились на меня за то, что я люблю французов. Не знаю, что со мной сталось бы, если б небо не послало мне спасителя в вашем лице.

Я снова поцеловал ей руку, дабы у нее не осталось сомнений в моих намерениях. Потом повернулся к толпе с тем выражением, которое я так хорошо умею придавать своему лицу. Вмиг прихожая опустела.

– Графиня, – сказал я, – теперь вы под моей защитой. Вы ослабели, и стакан вина просто необходим вам для подкрепления сил.

Я предложил ей руку и отвел ее в свою комнату, где она села рядом со мной за стол и подкрепилась едой и вином, которые я ей предложил.

Как она расцвела в моем присутствии, эта женщина, совсем как цветок под лучами солнца! Она осветила всю комнату своей красотой. Должно быть, она прочла восхищение в моих глазах, и мне казалось, что я тоже ей небезразличен. Ах, друзья мои, я был не последним из мужчин, когда мне едва перевалило за тридцать. Во всей легкой кавалерии трудно было сыскать вторые такие бакенбарды. У Мюрата они, пожалуй, были подлиннее, но лучшие знатоки соглашались, что у него они чуть-чуть слишком длинны. И, кроме того, я умел нравиться. К одним женщинам нужен такой подход, к другим – этакий, так же как при осаде города в плохую погоду нужны фашины и габионы , а в хорошую – траншеи. Но мужчина, который умеет сочетать натиск и робкую нежность, который может быть неистовым и в то же время кротким, самонадеянным и почтительным, именно такой мужчина наводит ужас на матерей. Я чувствовал себя покровителем одинокой женщины и, зная, какой я опасный человек, строго следил за собой. Но даже у покровителя есть привилегии, и я не преминул ими воспользоваться.

Голос у нее был такой же чарующий, как и лицо. В коротких словах она объяснила, что едет в Польшу, до сих пор ее сопровождал брат, но он заболел в дороге и слег. Местные жители не раз проявляли к ней враждебность, потому что она не могла скрыть свою симпатию к французам. Когда она кончила рассказывать про свои злоключения, разговор зашел обо мне и о моих подвигах. Оказалось, что она слышала о них, так как знала нескольких офицеров Понятовского и они рассказывали о моих славных делах. Но она жаждала услышать обо всем из моих собственных уст. Никогда еще не вел я столь приятной беседы. Большинство женщин совершает ошибку, слишком много говоря о себе, но эта слушала меня так, как вот сейчас слушаете вы, и просила рассказывать еще и еще. Незаметно проходил час за часом, и вдруг я с ужасом услышал, что часы на деревенской колокольне пробили одиннадцать, и спохватился, что на целых четыре часа забыл об интересах императора.

– Простите меня, дорогая мадам! – воскликнул я, вскакивая со стула. – Но я должен немедленно ехать в Гоф.

Она встала и посмотрела на меня с выражением упрека на бледном лице. – А как же я? – спросила она. – Что будет со мной?

– Дело касается императора. Я и так задержался здесь слишком долго. Мой долг призывает меня, и я должен ехать.

– Должны ехать? А меня хотите бросить одну среди этих дикарей? Ах, зачем я вас встретила! Зачем вы внушили мне мысль, что я могу положиться на вашу сильную руку! Ее глаза заблестели, и она, рыдая, бросилась мне на грудь.

Да, это была нелегкая минута для покровителя! Молодому офицеру пришлось зорко следить за собой. Но я оказался на высоте. Я гладил ее пышные каштановые волосы и шептал ей на ухо все утешения, какие только мог придумать, – правда, при этом я обнимал ее одной рукой, но это было необходимо, чтобы она не упала в обморок. Она обратила ко мне залитое слезами лицо.

– Воды, – прошептала она. – Ради бога, воды!

Я видел, что еще мгновенье, и она лишится чувств. Голова ее поникла, и я, уложив ее на кушетку, бросился из комнаты искать графин с водой. Прошло несколько минут, прежде чем я нашел его и поспешил назад. Представьте же мои чувства, когда я увидел, что комната пуста и женщина исчезла.

Исчезла не только сама, но и ее шляпка и отделанный серебром хлыст, лежавший на столе. Я выбежал в коридор и стал громко звать хозяина. Он ничего не знал, никогда раньше не видел этой женщины и рад бы никогда больше ее не увидеть. А крестьяне, стоявшие у двери, – не видели ли они, чтобы кто-нибудь ускакал? Нет, никого не видели. Я шарил повсюду, а потом вдруг случайно взглянул в зеркало, и тут глаза у меня полезли на лоб и я разинул рот так широко, что чуть не оборвал ремешок своего кивера. Все четыре пуговицы на моем ментике были расстегнуты, и, даже не ощупывая мундир у себя на груди, я понял, что драгоценные бумаги исчезли. О глубина лукавства, таящегося в женском сердце! Она обокрала меня, обокрала в тот самый миг, когда прильнула к моей груди. Пока я гладил ее по волосам и шептал ей на ухо утешения, ее руки шарили под моим доломаном. И вот теперь, когда я почти у цели, мне невозможно исполнить поручение, которое уже стоило жизни одному хорошему человеку и теперь, как видно, будет стоить другому чести. Что скажет император, когда услышит, что я потерял его письма? Поверит ли армия, узнав, что Этьен Жерар способен на такое? А когда станет известно, что женская рука похитила их у меня, то-то будет смеху за офицерскими столами и вокруг бивачных костров! От отчаяния я готов был упасть и кататься по земле. Но одно было несомненно: весь этот шум в прихожей и травля мнимой графини были разыграны нарочно от начала до конца. Этот негодяй хозяин, без сомнения, посвящен в заговор. У него и нужно выпытать, кто она такая и куда делись похищенные бумаги. Я схватил со стола саблю и выбежал искать его. Но негодяй предвидел это и приготовился к встрече. Я отыскал его в углу двора – он стоял с ружьем в руках, а рядом его сын держал на поводке здоровенного мастифа. По обе стороны от них стояли два конюха с вилами, а сзади жена держала большой фонарь, чтоб удобней было целиться. – Уезжайте, слышите, уезжайте отсюда! – крикнул он сиплым голосом. – Ваша лошадь у ворот, и никто не станет вас задерживать. А ежели хотите драться, вам придется одному выйти против троих храбрецов.

Я опасался только пса, потому что обе пары вил и ружье дрожали в их руках, как ветки на ветру. Но я рассудил, что если даже и вырву ответ, приставив острие сабли к горлу этого негодяя, у меня все равно не будет возможности проверить, правду ли он сказал. А раз так, в этой борьбе я могу многое потерять и ничего наверняка не выиграю. Поэтому я окинул их взглядом, от которого их дурацкое оружие задрожало еще больше, а затем, вскочив в седло, поскакал прочь, и пронзительный смех хозяйки долго еще раздавался у меня в ушах.

Я уже решил, что делать. Хоть я и потерял бумаги, но об их содержании нетрудно было догадаться, и я сам скажу все князю Сакс-Фельштейну, как будто император уполномочил меня. Это был смелый ход и довольно опасный к тому же, но если я зайду слишком далеко, то впоследствии меня можно дезавуировать. Все или ничего, а поскольку на кон поставлена вся Германия, игру нельзя проиграть, если мужество одного человека может решить ее исход.

Я въехал в Гоф за полночь, но все окна были ярко освещены, что уже само по себе свидетельствовало в этой сонной стране о лихорадочном возбуждении жителей. Проезжая по людным улицам, я слышал улюлюканье и насмешки, а один раз мимо моей головы просвистел камень, но я продолжал путь как ни в чем не бывало, шагом, пока не доехал до дворца. Он был освещен сверху донизу, и темные тени, мелькавшие в желтом зареве света, выдавали переполох, который поднялся внутри. У ворот я отдал лошадь конюху, вошел и с важностью, приличествующей посланнику, заявил, что мне необходимо видеть князя по делу, не терпящему отлагательства.

Прихожая была пуста, но, войдя, я услышал гул множества голосов, который сразу смолк, как только я громко объявил о цели своего прибытия. Значит, там было какое-то собрание, и чутье подсказывало мне, что оно должно решить роковой вопрос войны или мира. Возможно, я еще не опоздал и перевесит чаша весов, на которой лежат интересы императора и Франции. Дворецкий, бросив злобный взгляд исподлобья, провел меня в маленькую комнату рядом с прихожей и скрылся. Через минуту он вернулся и сказал, что князя сейчас беспокоить нельзя и меня примет княгиня.

Княгиня! Что толку с ней разговаривать? Разве меня не предупредили, что она душой и телом предана Германии и всячески старается настроить против нас своего мужа и всю страну!

– Я должен видеть князя, – сказал я.

– Нет, княгиню, – раздался в дверях голос, и в комнату быстро вошла женщина. – Фон Розен, прошу вас, останьтесь. Итак, мсье, что вы имеете сообщить князю или княгине Сакс-Фельштейн?

При первых звуках ее голоса я вскочил на ноги. При первом взгляде на нее задрожал от ярости. Нет на свете второй такой статной фигуры, такой царственной головы, таких глаз, синих, как Гаронна, и холодных, как ее воды в зимнюю пору. – Время не ждет! – воскликнула она и нетерпеливо топнула ногой. – Что вы имеете мне сказать?

– Что я имею вам сказать? – повторил я. – Что могу я сказать, кроме того, что вы научили меня никогда больше не верить женщине? Вы навеки погубили и опозорили меня.

Она, приподняв брови, взглянула на дворецкого.

– Что это, приступ горячки, или тут какая-нибудь более серьезная причина? – сказала она. – Мне кажется, небольшое кровопускание…

– Да, коварства вам не занимать! – воскликнул я. – Это вы уже доказали. – Вы хотите сказать, что уже встречали меня?

– Я хочу сказать, что не далее как два часа назад вы меня обокрали. – Ну, это уж слишком! – вскричала она, восхитительно разыграв возмущение. – Насколько я понимаю, вы претендуете на роль посланника, но и привилегии посланника имеют свои границы.

– Ваша дерзость восхитительна, – сказал я. – Но вашему высочеству не одурачить меня дважды за один вечер. – Я бросился к ней и, нагнувшись, схватил подол ее платья. – Вам следовало бы переодеться после такого долгого и спешного путешествия.

Ее белые, как слоновая кость, щеки мгновенно вспыхнули, словно блики зари заиграли на снеговой вершине горы.

– Какая наглость! – воскликнула она. – Позвать сюда стражу, и пускай его вышвырнут вон из дворца.

– Не ранее, чем я увижу князя.

– Вы его никогда не увидите… Ах! Держите его, фон Розен, держите же! Но она забыла, с кем имеет дело: я был бы не я, если б стал дожидаться, пока она кликнет этих негодяев. Она поторопилась открыть карты. Ее ставка была не допустить меня к мужу. Моя – любой ценой поговорить с ним в открытую. Одним прыжком я выскочил за дверь. Вторым пересек прихожую. Еще мгновенье – и я ворвался в большую залу, откуда слышался гул голосов. В дальнем се

конце я увидел человека, сидевшего на высоком троне. Чуть пониже восседали в ряд какие-то важные сановники, а по обе стороны смутно виднелись головы множества людей. Я вышел на середину зала, держа под мышкой кивер и бряцая саблей.

– Я посланник императора! – воскликнул я. – У меня поручение к его высочеству князю Сакс-Фельштейну.

Человек на троне поднял голову, и я увидел, что лицо у него худое и осунувшееся, а спина сгорблена, словно ему взвалили на плечи непосильную ношу.

– Как ваше имя? – спросил он.

– Полковник Этьен Жерар, командир Третьего гусарского полка.

Все лица обратились ко мне, я услышал шуршание множества воротников и выдержал множество взглядов, среди которых не было ни одного дружественного. Княгиня проскользнула мимо меня и принялась что-то нашептывать на ухо князю, то и дело качая головой и размахивая руками. Я же выпятил грудь и подкручивал усы, молодецки поглядывая вокруг. Там были одни мужчины – преподаватели из коллежа, несколько студентов, солдаты, дворяне, ремесленники, – и все хранили торжественное молчание. В одном углу сидели несколько человек в черном, на плечи у них были накинуты короткие плащи. Наклонившись друг к другу, они о чем-то шептались, и при каждом их движении я слышал звяканье сабель или шпор.

– Император известил меня личным письмом, что его бумаги доставит маркиз Шато Сент-Арно, – сказал князь.

– Маркиз злодейски убит, – отвечал я, и после этих слов в зале раздался гул. Я заметил, что многие головы повернулись к людям в черных плащах.

– А где же бумаги? – спросил князь.

– У меня их нет.

Тут поднялся невообразимый шум.

– Это шпион! Он просто прикидывается! – кричали все.

– Повесить его! – пробасил кто-то из угла, и еще десяток голосов подхватил эти слова. Я преспокойно достал носовой платок и обмахнул пыль с меховой оторочки ментика. Князь поднял тонкие руки, и шум замер.

– Где в таком случае ваши верительные грамоты и что вам поручено передать? – Мой мундир – вот мои верительные грамоты, а то, что мне поручено, я скажу вам с глазу на глаз.

Он провел рукой по лбу, как делает слабый человек в полной растерянности. Княгиня стояла подле него, положив руку на спинку трона, и снова что-то шепнула ему. – Здесь собрались на совет мои верные подданные, – сказал он. – У меня нет от них тайн, и что бы вам ни поручил передать император, в такую минуту это касается их не меньше, чем меня.

После этих слов раздались аплодисменты, и все взгляды снова устремились на меня. Честное слово, я оказался в нелегком положении, потому что одно дело разговаривать с тремя сотнями гусар, а другое – с этой публикой да еще на такую тему. Но я устремил глаза на князя и заговорил так, словно был с ним наедине, громовым голосом, каким обращался к своему полку на смотру.

– Вы не раз клялись в любви к императору! – загремел я. – И вот настал час испытания этой любви! Если вы сохраните твердость, он вознаградит вас так, как он один умеет вознаграждать. Для него ничего не стоит превратить князя в короля, а княжество – в королевство. Его взор устремление вас, вы бессильны ему повредить, но сами вы погибнете. В эту минуту он переходит Рейн с двухсоттысячной армией. Крепости по всей стране в его руках. Он будет здесь через неделю, и если вы его предадите, да помилует бог вас с княгиней и ваших подданных. Вы думаете, что он потерял свое могущество лишь потому, что кое-кто из нас обморозился прошлой зимой. Глядите! – воскликнул я, указывая на большую звезду, сиявшую

в окне над головой князя. – Это звезда императора. Только когда она померкнет, померкнет и его слава, но не ранее. Вы гордились бы мной, друзья мои, если бы видели меня тогда и слышали мои слова, потому что при этом я забряцал саблей и так взмахнул доломаном, словно во дворе был построен мой полк. Меня слушали молча, но спина князя горбилась все больше и больше, будто бремя, давившее его, было сверх его сил. Он окинул залу беспомощным взглядом.

– Мы выслушали француза, говорившего от лица Франции, – сказал он. – Теперь пускай немец скажет от лица Германии.

Все переглянулись и начали шептаться. Видимо, моя речь произвела сильное впечатление, и никто не решался первым навлечь на себя гнев императора. Княгиня повела вокруг сверкающими глазами, и ее звонкий голос нарушил тишину. – Неужели женщине придется отвечать французу? – вскричала она. – Неужели среди ночных мстителей Лутцова нет ни одного, кто так же хорошо владеет языком, как и саблей?

С грохотом опрокинулся стол, и на стул вскочил юноша. У него было вдохновенное лицо, бледное, неистовое, с дикими, ястребиными глазами, и спутанные волосы. У пояса его висела сабля, а сапоги порыжели от болотной грязи.

– Это Корнер! – закричали в зале. – Молодой Корнер, он поэт! Сейчас он будет петь!

И он запел! Сначала он тихо и мечтательно пел о древней Германии, матери народов, о плодородных, солнечных равнинах, о городах в серой дымке и о славе павших героев. Но вот каждый стих зазвучал, как зов трубы. Это была песнь о нынешней Германии, Германии, которую враги захватили врасплох и повергли ниц, но теперь она воспрянула вновь и срывает путы со своего гигантского тела. Нам ли дорожить жизнью? Нам ли страшиться славной смерти? Мать, великая мать зовет. Ее вздохи слышатся в шуме ночного ветра. Она со слезами кличет на помощь своих детей. Придут ли они? Придут ли? Придут ли? Ах, эта ужасная песня, это вдохновенное лицо и звенящий, как струна, голос! Кто помнил теперь обо мне, и о Франции, и об императоре? Эти люди даже не закричали – они взвыли. Они вскочили на стулья и столы. Они неистовствовали, рыдали, слезы текли по их лицам. Корнер спрыгнул со стула, друзья обступили его, потрясая обнаженными саблями. Бледное лицо князя вспыхнуло, и он встал с трона.

– Полковник Жерар, – сказал он, – вы слышали ответ и передадите его императору. Жребий брошен, дети мои. Ваш князь восторжествует или падет вместе с вами.

Он наклонил голову, давая понять, что совет окончен, и люди с криками устремились к двери, торопясь разнести новость по всему городу. Я же сделал все, что мог сделать храбрый человек, и не жалел, когда этот поток увлек и меня. Что мне было делать во дворце? Я получил ответ и должен передать его, каков бы он ни был. Я не хотел больше видеть ни Гоф, ни его жителей, пока не войду туда во главе нашего авангарда. Итак, я отвернулся от толпы и в угрюмом молчании пошел в ту сторону, куда конюх отвел мою лошадь.

У конюшни было темно, и я вглядывался, отыскивая конюха, как вдруг кто-то схватил меня сзади за обе руки. Я почувствовал, что мне стиснули запястья и горло, а возле уха ощутил холодок пистолетного ствола.

– Только пикни у меня, французский пес, – прошептал злобный голос. – Капитан, мы держим его.

– Есть у вас уздечка?

– Вот она.

– Накиньте ему на шею.

Я почувствовал у себя на шее холодное прикосновение ременной петли. Вышел конюх с фонарем и молча смотрел на нас. При тусклом свете фонаря я увидел суровые лица, которые со всех сторон выглядывали из темноты, черные фуражки и плащи ночных мстителей.

– Что вы намерены с ним сделать, капитан? – раздался голос.

– Повесить на воротах замка.

– Посланника?

– Посланника без верительных грамот.

– Но что скажет князь?

– Да разве ты не понимаешь, приятель, что тогда князю поневоле придется принять нашу стороны? Ему нечего будет и надеяться на прощенье. А так он хоть завтра может переметнуться, как сделал сейчас. Свои слова он может взять назад, но после убийства гусара ему никак не оправдаться.

– Нет, нет, фон Стрелиц, это невозможно, – сказал другой голос.

– Невозможно? А вот сейчас увидите. – И тут за уздечку так дернули, что я еле устоял на ногах. В тот же миг сверкнула сабля и рассекла ремень в двух дюймах от моей шеи.

– Ей-богу, Корнер, это мятеж! – заорал капитан. – Это вам боком выйдет, черт вас подери.

– Я обнажил саблю, чтобы стать солдатом, а не разбойником, – сказал молодой поэт, – Ее клинок может покрыть кровь, но не бесчестье. Друзья, неужели вы будете молча смотреть, как этого человека злодейски убивают?

С десяток сабель вылетело из ножен, и я понял, что силы моих друзей и врагов почти равные. Но злобные голоса и сверканье стали привлекли людей со всех сторон. – Княгиня! – кричали они. – Княгиня идет! И тут же я увидел ее прямо перед собой, – ее прелестное лицо выступало из темноты как на портрете. У меня были причины ее ненавидеть, потому что ей удалось одурачить меня, но все же восторг наполнял и до сих пор наполняет мне душу при мысли, что мои руки обнимали ее и я чувствовал запах ее волос. Не знаю, покоится ли она теперь где-нибудь в немецкой земле или же, превратившись в седовласую старуху, еще живет в своем замке в Гофе, но она жива, молодая и красивая, в сердце и памяти Этьена Жерара.

– Стыд и срам! – вскричала она, бросаясь ко мне, и собственными руками сорвала петлю с моей шеи. – Вы сражаетесь за святое дело и хотите начать с такого богомерзкого поступка. Этот человек под моим покровительством, и тот, кто тронет хоть волос на его голове, будет держать ответ передо мной.

Под ее презрительным взглядом все они поспешили скрыться в темноте. Тогда она снова повернулась ко мне.

– Следуйте за мной, полковник Жерар, – сказала она. – Мне нужно поговорить с вами.

Я последовал за ней в ту же комнату, куда меня ввели с самого начала. Она закрыла дверь и посмотрела на меня с лукавым блеском в глазах.

– Видите, как я доверяю вам, оставаясь с вами наедине? – сказала она. – Прошу вас помнить, что перед вами княгиня Сакс-Фельштейн, а не бедная польская графиня Палотта.

– Каково бы ни было ваше имя, – отвечал я, – я помог женщине, думая, что она попала в беду, а в награду меня обокрали и едва не опозорили навеки. – Полковник Жерар, – сказала она, – мы оба вели игру, и ставка была немалая. Вы, исполнив поручение, которое вам никогда не давали, доказали, что ради своей страны ни перед чем не остановитесь. Во мне бьется сердце немки, а в вас – сердце француза, и я тоже готова на все, даже на обман и кражу, только бы в этот решительный час помочь моей несчастной родине. Вы сами видите, как я с вами откровенна. – Все, что вы говорите, я и без того знаю.

– Но теперь, когда игра окончена и я выиграла, почему мы должны питать друг к другу злобу? Уверяю вас, что если бы я попала в такое положение, в каком якобы очутилась на постоялом дворе в Лобенштейне, я не желала бы встретить более храброго защитника, более преданного и благородного человека, чем полковник Этьен Жерар. Я никогда не думала, что могу испытывать такое расположение к французу, какое испытывала к вам в тот миг, когда тайком искала бумаги на вашей груди. – И все-таки вы их взяли.

– Это было необходимо для меня и для Германии. Я знала, какие доводы там содержатся и какое действие они произвели бы на князя. Попади они только к нему в руки, все было бы потеряно.

– Но почему вы, ваше высочество, снизошли до таких уловок, когда два десятка разбойников, которые собирались повесить меня на воротах вашего замка, отлично справились бы с этим делом?

– Они не разбойники, а отпрыски благороднейших немецких родов! – воскликнула она с горячностью. – Если с вами грубо обошлись, не забывайте, каким унижениям был подвергнут каждый немец, начиная с королевы Пруссии и кончая последним простолюдином. А если хотите знать, почему вы не попали в засаду на дороге, да будет вам известно, что я выслала отряды во все стороны и ждала в Лобенштейне донесения об успехе. Когда же вместо этого явились вы собственной персоной, я пришла в отчаянье, потому что на вашем пути к моему мужу стояла теперь только слабая женщина. Вы видите, в каком тупике я оказалась, когда решилась прибегнуть к оружию своего пола. – Признаюсь, вы победили меня, ваше высочество, и мне остается лишь удалиться, оставив поле боя за вами.

– Но прежде возьмите свои бумаги. – С этими словами она протянула мне пакет. – Князь перешел Рубикон, и ничто уже не может заставить его повернуть вспять. Верните их императору и скажите, что мы отказались их принять. Тогда никто не сможет упрекнуть вас в том, что вы потеряли императорское послание. Прощайте, полковник Жерар, и могу вам пожелать только одно – чтобы, добравшись до Франции, вы там и оставались, не пройдет и года, как ни одному французу не будет места по эту сторону Рейна.

7. КАК БРИГАДИР БЫЛ НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ

Герцог Тарентемский, или Макдональд, как его предпочитают звать старые друзья, был, насколько я понял, в прескверном настроении. Угрюмое лицо этого шотландца походило на одну из тех причудливых дверных колотушек, какие можно увидеть в предместье Сен-Жермен. Как мы узнали позже, император как-то в шутку сказал, что послал бы его на юг против Веллингтона, но боится отпустить туда, где слышен звук волынки. Мы с майором Шарпантье сразу увидели, что в нем так и клокочет ярость.

– Бригадир гусар Жерар, – сказал он тоном, каким капрал обращается к новобранцу. Я отдал честь,

– Майор конных гренадеров Шарпантье.

Мой товарищ вытянулся, услышав свою фамилию.

– Император поручает вам важное дело.

Без дальнейших разговоров он распахнул дверь и доложил о нашем приходе. На каждые десять раз, что я видел Наполеона верхом, приходился только один, когда он был пеший, и я полагаю, он поступал разумно, показываясь перед войсками на коне, потому что когда он в седле, на него можно залюбоваться. Теперь же перед нами стоял коротышка, на дюйм ниже любого из полдюжины мужчин, широкий в плечах, – правда, и сам я не такой уж рослый. Кроме того, бросалось в глаза, что туловище у него слишком длинное, а ноги короткие. Большая, круглая голова, поникшие плечи и гладко выбритое лицо делали его больше похожим на профессора Сорбонны, чем на первого полководца Франции. Конечно, о вкусах не спорят, но мне сдается, что если б я мог прилепить ему пару добрых кавалерийских бакенбард вроде моих, это ему не повредило бы. Однако у него был твердый рот и удивительные глаза. Однажды он устремил их на меня в гневе, и я скорей согласился бы проехать через вражеское каре на запаленной лошади, чем снова предстать перед ним в такую минуту. А ведь я не из робкого десятка. Он стоял у стены, поодаль от окна, и рассматривал большую карту местности, висевшую на стене. Рядом стоял Бертье, пытаясь придать своему лицу умное выражение. Как раз когда мы вошли, Наполеон нетерпеливо вырвал у него из рук шпагу и указал ею что-то на карте. Он говорил быстро и тихо, но все же я расслышал: «Долина Мез», – и еще он дважды

повторил: «Берлин». Когда мы вошли, адъютант направился к нам, но император остановил его и кивком подозвал нас к себе.

– Вы еще не награждены почетным крестом, бригадир Жерар? – спросил он, Я отвечал, что нет, и готов был уже присовокупить, что дело тут не в отсутствии заслуг с моей стороны, но он решительно, по своему обыкновению, оборвал меня. – А вы, майор?

– Нет, ваше величество.

– В таком случае вам обоим предоставляется возможность его получить. Он подвел нас к карте, висевшей на стене, и указал концом шпаги Бертье на Реймс. – Господа, я буду с вами откровенен, как с боевыми товарищами. Ведь вы оба сражаетесь за меня со времен Маренго, не так ли? – У него была на редкость обаятельная улыбка, освещавшая его бледное лицо, словно холодное солнце. – Здесь, на Реймсе, сего числа, а именно четырнадцатого марта, находится наша ставка. Прекрасно. А вот Париж, до него по дороге добрых двадцать пять лиг. Армия Блюхера стоит к северу, Шварценберга – к югу.

Говоря это, он тыкал шпагой в карту.

– Так вот, – продолжал он, – чем дальше в глубь страны они зайдут, тем сокрушительней будет мой удар. Они вот-вот двинутся на Париж. Превосходно. Пускай. Мой брат, испанский король, встретит их там со стотысячной армией. Я посылаю вас к нему. Вы вручите ему вот это письмо – я даю вам каждому по копии. Здесь сказано, что я подоспею к нему на помощь не позднее чем через два дня со всеми своими людьми, лошадьми и пушками. Я должен дать армии сорок восемь часов, чтобы прийти в себя. А потом прямо на Париж! Вы меня поняли, господа?

Ах, если б я мог передать вам, какой гордостью наполнилась моя душа, когда этот великий человек оказал мне такое доверие!

Когда он протянул нам письма, я щелкнул шпорами и выпятил грудь, улыбаясь и кивая, дабы он видел, что я прекрасно понимаю его. Он тоже улыбнулся и коснулся рукой меха на моем доломане. Я отдал бы половину своего невыплаченного жалованья, только бы моя матушка могла меня видеть в этот миг.

– Сейчас я покажу, каким путем вам ехать, – сказал он, снова оборачиваясь к карте. – Вы поедете вместе до Базоша. Там вы разделитесь: один направится в Париж через Ульши и Нейл, а другой – севернее, через Брен, Суассон и Сенли. Вы что-то хотите сказать, бригадир Жерар?

Я, конечно, простой солдат, но умею думать и выражать свои мысли. Я начал говорить о славе Франции и об опасности, грозящей ей, но он оборвал меня: – А вы, майор Шарпантье?

– Если мы сочтем этот путь опасным, можем ли мы выбрать другой? – спросил он.

– Солдаты не выбирают, но повинуются.

Император наклонил голову, показывая, что не задерживает нас долее, и повернулся к Бертье. Я не слышал, что он сказал, но оба засмеялись. Ну-с, как вы понимаете, мы, не теряя времени, собрались в дорогу. Через полчаса мы уже ехали по главной улице Реймса, а когда проезжали мимо собора, часы пробили двенадцать. Я ехал на Фиалке, той самой серой лошадке, которую Себастиани так хотел купить у меня после Дрездена. Это самая быстрая лошадь на все шесть бригад легкой кавалерии, и ее обскакал только английский рысак герцога Ровиго. А у Шарпантье была лошадь, на каких обычно ездят конные гренадеры или кирасиры: поверите ли, спина, как кровать, а ноги, как столбы. Да и сам он был довольно грузный малый, так что выглядели оба забавно. И все же он с идиотским самомнением подмигивал девушкам, которые махали мне платочками из окон, и закручивал свои безобразные рыжие усы чуть не до самых глаз, как будто не я, а он привлекал их внимание.

Выехав из города, мы миновали сначала позиции своих частей, а потом – поле вчерашней битвы, которое было усеяно трупами наших бедняг и русских. Но еще печальней выглядел наш лагерь. Армия буквально таяла. Гвардия еще ничего, хотя в недавно сформированных полках

было много новобранцев. Артиллерия и тяжелая кавалерия тоже куда ни шло, будь их побольше, но пехотинцы и их младшие офицеры выглядели как школьники с учителями. А резервов у нас не было. И если учесть, что к северу от нас стояла восьмидесятитысячная армия пруссаков, а к югу – сто пятьдесят тысяч русских и австрийцев, то даже самый отчаянный храбрец мог прийти в уныние. Признаться, я прослезился, но меня поддержала мысль, что император попрежнему с нами, и не далее как сегодня утром он коснулся моего доломана и обещал наградить меня почетной медалью. Я даже запел и пришпоривал Фиалку до тех пор, покуда Шарпантье не взмолился пощадить его здоровенного верблюда, который храпел и тяжело водил боками. Дорога была вся разъезженная, вязкая, как тесто, и пушки выбили на ней колеи глубиной фута в два, так что Шарпантье был прав, говоря, что здесь неподходящее место скакать галопом.

Мы с этим Шарпантье никогда не были друзьями, и теперь за двадцать миль пути я не мог вытянуть из него ни слова. Он ехал, насупившись и опустив голову, как человек, погруженный в тяжкие думы. Я не раз спрашивал его, о чем он думает, полагая, что я поумней его и разрешу его затруднения. Он неизменно отвечал, что думает о порученном ему деле, и это очень удивляло меня, потому что, хотя я никогда не был особенно высокого мнения о его уме, все же мне казалось невозможным, что такая простая боевая задача может привести человека в замешательство.

Наконец мы доехали до Базоша, откуда он должен был отправиться на юг, а я на север. Прежде чем расстаться со мной, он повернулся вполоборота в седле и посмотрел на меня странным, испытующим взглядом.

– Что вы об этом думаете, бригадир? – спросил он.

– О чем?

– О приказе императора.

– Да тут все яснее ясного.

– Вы так полагаете? А для чего императору понадобилось посвящать нас в свои планы?

– Он понял, что имеет Дело с умными людьми.

Мой спутник засмеялся, и этот смех вывел меня из себя.

– А позвольте спросить, что вы намерены делать, если во всех этих деревнях окажутся пруссаки? – спросил он.

– Буду выполнять приказ.

– Но ведь вас убьют.

– Очень может статься.

Он снова засмеялся, да так вызывающе, что я слегка похлопал ладонью по эфесу сабли. Но прежде чем я успел высказать ему все, что я думаю о его глупости и грубости, он повернул лошадь и неуклюже поскакал на юг. Его высокая меховая шапка исчезла за вершиной холма, и я поехал своей дорогой, дивясь его поведению. Время от времени я прикладывал руку к груди и ощупывал письмо, шелестевшее у меня под мундиром. Ах, драгоценное письмо, вскоре оно превратится в маленькую серебряную медаль, о которой я столько мечтал! Весь путь от Брена до Сермуаза я думал о том, что скажет моя матушка, когда увидит ее.

Я остановился на заезжем дворе неподалеку от Суассона, у подножия холма, чтобы накормить Фиалку. Вокруг росли старые дубы, и на них гнездилась такая уйма ворон, что я едва слышал собственный голос. От хозяина я узнал, что два дня назад Мармон отступил и пруссаки перешли Эн. Через час, уже в сумерки, я увидел два их дозора на холме справа от себя, а когда совсем стемнело, на севере задрожало огромное зарево бивачных костров.

Услышав, что Блюхер там вот уже два дня, я очень удивился, как это император не знал, что местность, через которую он приказал мне везти столь важное письмо, уже занята противником. Но я вспомнил, каким тоном он сказал Шапантье, что солдат не выбирает, а

повинуется. Я должен ехать так, как он мне приказал, пока Фиалка в силах перебирать ногами, а я – держать поводья. Весь путь от Сурмуаза до Суассона дорога идет то вверх, то вниз, петляя среди еловых лесов, и я, держа пистолет наготове, а саблю у пояса, двигался быстро там, где дорога шла прямо, но придерживал лошадь на поворотах: делать так мы научились в Испании.

Когда я доехал до усадьбы, той, что справа от дороги, сразу, как переедешь деревянный мост через Крис, неподалеку от того места, где стоит большая статуя пресвятой девы, с поля меня окликнула какая-то женщина и предупредила, что в Суассоне пруссаки. Небольшой отряд их улан, сказала она, вступил туда не далее как сегодня вечером, а к полуночи ожидается целая бригада. Не дослушав до конца, я дал Фиалке шпоры и через пять минут уже влетел галопом в город.

В начале главной улицы мне встретились трое улан. Их лошади были привязаны, а сами они о чем-то толковали между собой, и каждый курил трубку длиной с мою саблю. Я хорошо разглядел их при свете, падавшем из открытой двери, они же увидели только, как мимо мелькнул серый бок Фиалки и мой черный, трепыхавшийся на ветру плащ. А через мгновенье я уже мчался сквозь толпу, высыпавшую из открытых ворот. Одного Фиалка сшибла с ног, и он кубарем полетел на землю, другого я хотел зарубить, но промахнулся. «Бах! Бах!» – выпалили два карабина, но я уже завернул за угол и даже не услышал свиста пуль. Ах, мы оба были великолепны – и я и Фиалка! Она мчалась, как заяц, которого преследуют гончие, искры так и сыпались у нее из-под копят. Я привстал на стременах и размахивал саблей. Кто-то бросился мне наперерез и хотел схватить лошадь под узцы. Я рубанул его по руке и услышал, как он взвыл у меня за спиной. За мной гнались два всадника. Одного я зарубил, а другого оставил далеко позади. Минуту спустя я уже вылетел из города и несся по широкой белой дороге, обсаженной по обеим сторонам осокорями. Сначала я слышал позади стук копыт, но постепенно он становился все глуше, и я уже не мог отличить его от стука собственного сердца. Я остановился и внимательно прислушался, но все было тихо. Они прекратили погоню.

Первым делом я спешился и отвел свою лошадку в лесок, где журчал ручей. Там я напоил и обтер ее, дал ей два куска сахару, смочив их коньяком из фляги. Она была измучена после тяжелой скачки и просто чудом оправилась после получасового отдыха. Когда я снова сел в седло, то понял по ее упругому шагу, что не ее будет вина, если я не доберусь целым и невредимым до Парижа.

Теперь я, по-видимому, был глубоко во вражеском тылу, потому что слышал, как они, подвыпив, горланят свои песни в доме у дороги, и свернул в поле, чтобы объехать этот дом стороной. В другой раз на лунный свет вышли какие-то двое (ночь тогда была безоблачная) и что-то крикнули по-немецки, но я проскакал мимо, не обращая на них внимания, а стрелять они побоялись, потому что мундиры их гусар очень похожи на наши. В таких случаях лучше всего не обращать внимания на окрики, тогда тебя считают глухим.

Луна была удивительно красива, и деревья отбрасывали на дорогу черные тени, похожие на прутья решетки. Я видел все ясно, как днем, и пейзаж был совсем мирный, только где-то на севере бушевал пожар. Я знал, что спереди и сзади меня подстерегает опасность, и когда в ночной тишине смотрел на зарево этого далекого, огромного пожара, то испытывал волнение и благоговейный страх. Но я не привык унывать, потому что мне на моем веку довелось повидать много удивительного, и я только мурлыкал под нос песенку да думал о Лизетте, с которой надеялся встретиться в Париже. Мои мысли были поглощены ею, когда вдруг за поворотом я наскочил прямо на шестерых немецких драгун, которые расположились у самой дороги вокруг костра.

Я прекрасный солдат. Говорю это не из тщеславия, а потому что это истинная правда. Я могу в один миг взвесить все за и против и принять решение, словно размышлял целую неделю. И вот теперь я с быстротой молнии сообразил, что погони никак не избежать, а лошадь моя уже проскакала целых двенадцать лиг. Но лучше при этом скакать вперед, чем назад. В эту лунную ночь, спасаясь от преследователей, под которыми свежие лошади, я все равно

подвергнусь большому риску; если же мне удастся от них уйти, лучше пускай это произойдет близ Сенли, а не близ Суассона. Все эти мысли, знаете ли, осенили меня как бы по наитию. Я едва скользнул взглядом по бородатым лицам под медными шлемами, а мои шпоры уже коснулись боков Фиалки, и она ринулась вперед, словно в атаку. Ого, как они заорали, забегали, затопали позади меня! Трое выстрелили, а трое бросились к лошадям. Пуля угодила в луку седла с таким звуком, словно ударили палкой в дверь. Фиалка, обезумев, рванулась вперед, и я подумал, что она ранена, но она отделалась лишь царапиной на передней бабке. Ах, бедная моя лошадка! Какую нежность испытал я к ней, когда почувствовал, что она пустилась вперед машистым легким галопом, и ее копыта дробно стучали, как кастаньеты в руках испанки. Я не мог сдержаться. Я обернулся в седле и рявкнул: «Vive I`Empereur!» Я хохотал и громко вопил, слыша, какие сзади раздавались проклятия. Но погоня была не кончена. Не будь Фиалка так измучена, она через пять миль обскакала бы их на целую милю. Теперь же она могла только удерживать преследователей на прежнем расстоянии, почти ничего не выигрывая. Был среди них один офицер, совсем еще мальчишка, под ним лошадь оказалась получше остальных. Он с каждым шагом вырывался вперед. В двух сотнях шагов позади него скакали еще двое, но, оглядываясь, я всякий раз видел, что расстояние между ними увеличивается. А остальные трое, те, что стреляли, были далеко позади.

У офицера была гнедая лошадь, очень даже недурная, и хотя, ясное дело, она не могла сравниться с Фиалкой, все же это было сильное животное, и я предвидел, что через несколько миль его свежие силы скажутся. Я подождал, пока этот малый далеко опередил своих товарищей, а потом чуть-чуть придержал Фиалку – самую малость, чтобы он подумал, будто и впрямь меня настигает. Подпустив его на выстрел, я вытащил пистолет, взвел курок и оглянулся через плечо, ожидая, что он станет делать. Он не стрелял, и я вскоре понял, почему. Этот глупый мальчишка вынул на ночь пистолет из кобуры. Он размахивал саблей и выкрикивал всякие угрозы. Видимо, он не понимал, что его жизнь в моих руках. Я еще немного придержал Фиалку, пока серый хвост и гнедая морда не сблизились на длину копья.

– Rendez-vous ! – крикнул он.

– Поздравляю вас, мсье, вы отлично говорите по-французски, – сказал я, кладя ствол пистолета на согнутую левую руку, которой держал поводья: так мне всегда было удобней стрелять, сидя в седле. Я прицелился ему в лицо и даже при лунном свете увидел, как он побледнел, когда понял, что ему крышка. Но, уже спуская курок, я подумал о его матери и выстрелил лошади под лопатку. Боюсь, что он сильно ушибся, с таким стуком он упал, но мне нужно было думать о письме, которое я вез, и я снова пустил Фиалку галопом.

Но от этих бандитов не так-то легко было уйти. Двое драгун обратили на своего офицера не больше внимания, чем если б это был простой новобранец, только что вышедший из кавалерийской школы. Они предоставили его заботам остальных и продолжали погоню. Я остановился на вершине холма, думая, что не услышу больше стука копыт; но, клянусь, я вскоре убедился, что мешкать нельзя, и мы снова помчались вперед; Фиалка при этом мотала головой, а я – кивером, выражая свое презрение к двум драгунам, которые пытаются догнать гусара. Но в тот самый миг, когда я смеялся над этой мыслью, сердце у меня вдруг упало, потому что вдалеке, на белой дороге, я увидел черных всадников, поджидавших меня. Неопытный солдат принял бы их за тени деревьев, но я сразу понял, что это эскадрон гусар, и куда бы я не свернул, всюду меня подстерегала смерть.

Итак, позади были драгуны, а впереди гусары. Ни разу со времен Москвы я еще не бывал в такой переделке. Но во имя чести моей бригады я предпочитал, чтобы меня зарубил представитель легкой кавалерии, а не тяжелой. Поэтому я даже не тронул повода, не поколебался ни мгновения, а дал Фиалке волю. Помню, я даже пытался молиться, несясь во весь опор, но я как-то отвык от таких вещей и вспомнил только молитву о хорошей погоде, которую мы читали в школе по вечерам перед каникулами. Это было лучше, чем ничего, и я скороговоркой бормотал эту молитву, как вдруг услышал впереди голоса французов. О боже,

радость пронзила мое сердце, как пуля! Это были наши – наши милые дьяволы из корпуса Мармона. Оба драгуна поспешно повернули и что было духу поскакали назад, только их медные шлемы поблескивали под луной, а я подъехал к своим неспеша, с достоинством, давая этим понять, что хотя гусар и может спасаться бегством, не в его характере удирать слишком быстро. И все же, боюсь, дрожащие бока Фиалки и ее взмыленная морда выдали меня, несмотря на всю мою притворную беззаботность.

А командовал отрядом не кто иной, как сам старина Буве, которого я спас под Лейпцигом! Когда он увидел меня, его маленькие красные глазки наполнились слезами, и, честное слово, я сам прослезился, тронутый его радостью. Я рассказал ему о письме, но он только рассмеялся, услышав, что я должен проехать через Сенли.

– Там враг, – сказал он. – Нельзя туда ехать.

– Я предпочитаю ехать именно туда, где враг, – возразил я.

– Но почему не отвезти письмо прямо в Париж? Почему вам непременно надо ехать через этот город, где вас ждет верная смерть или плен?

– Солдат не выбирает, он повинуется, – повторил я слова Наполеона.

Старина Буве засмеялся своим странным, похожим на кашель смехом, и, чтобы он не забывался, мне пришлось подкрутить усы и смерить его взглядом.

– Что ж, – сказал он. – В таком случае присоединяйтесь к нам, мы как раз едем в Сенли. Нас отрядили на разведку. Впереди эскадрон польских улан Понятовского. Если вам непременно надо туда, поедем вместе.

И мы поехали, звякая и бряцая оружием в ночной тишине, пока не нагнали поляков, – они все как на подбор были добрые, старые солдаты, хотя чуть тяжеловаты для своих коней. Смотреть на них было одно удовольствие, даже гусары из моей бригады не могли бы держаться лучше. Мы продолжали путь все вместе и ранним утром увидели впереди огни Сенли. Навстречу нам попался крестьянин в повозке, и от него мы узнали положение дел.

Сведения были верные, потому что браг этого крестьянина служил кучером у мэра, и он виделся с ним накануне, поздней ночью. В городе был один-единственный эскадрон казаков, разместившийся в доме мэра на углу рыночной площади, это был самый большой дом в городе. В лесу, к северу, расположилась целая дивизия прусской пехоты, но в Сенли нет никого, кроме казаков.

Мы ворвались в город лавиной, изрубили дозорных, смели охранение и уже ломились в двери дома мэра, прежде чем они успели сообразить, что французы у них под носом. Мы видели в окнах лица, заросшие волосами до самых ушей, овчинные шапки и разинутые рты. «Ура, ура!» – кричали они и палили из карабинов, но наши ребята уже ворвались в дом и вцепились им в глотки, пока они не успели еще как следует продрать глаза. Было ужасно видеть, как поляки набросились на них, будто голодные волки на стадо упитанных быков. Казаки почти все были перебиты в верхних комнатах, где пытались укрыться, и кровь стекала в прихожую, как дождь с крыши. Они страшны в бою, эти поляки, хотя, на мой взгляд, тяжеловаты малость для своих коней. Все как на подбор, они не уступят ростом кирасирам Келлермана. Вооружены они, конечно, гораздо легче, так как не носят кирас, брони на спине и шлемов.

И тут я сделал ошибку – и, сознаюсь, ошибку непростительную. До тех пор я выполнял возложенное на меня поручение так, что лишь скромность мешает мне назвать свое поведение безукоризненным. Теперь же я сделал то, что чиновник осудил бы, а солдат понял и простил.

Конечно, моя лошадь была почти загнана, но все же я мог бы проехать галопом через Сенли, и тогда враг не преграждал бы мне больше путь в Париж. Но какой гусар может проехать мимо места схватки и не остановить коня? Нельзя требовать от него слишком многого. Кроме того, я решил, что если Фиалка отдохнет часок, я потом выиграю добрых три. А тут еще

в окнах появились головы в овчинных шапках и раздались дикие крики. Я соскочил с седла, накинул поводья на столбик перил и бросился в дом вместе со всеми. Правда, я подоспел слишком поздно, и все же один из этих умирающих дикарей чуть не ранил меня копьем. Но всегда жаль пропускать даже мелкую стычку, ведь никогда не знаешь, где тебя ждет случай отличиться. Во время стычек передовых постов и в мелких кавалерийских рубках мне приходилось видеть более славное подвиги, чем в любом из больших сражений, которыми руководил сам император.

Когда дом был очищен, я принес Фиалке ведро воды, а крестьянин, наш проводник, показал мне, где у мэра хранится корм. Да, моя дорогая крошка здорово проголодалась. Я обтер ей мокрой губкой ноги и, оставив ее на привязи, вернулся в дом, чтобы самому чего-нибудь перехватить и больше уж не останавливаться до самого Парижа. А теперь я подхожу к той части своего рассказа, которая, пожалуй, покажется вам невероятной, хотя я могу рассказать по меньшей мере десяток не менее поразительных случаев. Сами понимаете, с человеком, который всегда в разведках и дозорах, на залитой кровью земле, разделяющей две великие армии, часто случаются удивительные вещи. Но послушайте же, что со мною произошло.

Когда я вошел в дом, старина Буве ждал меня в прихожей и предложил распить вместе бутылочку вина.

– Нам надо поторапливаться, – сказал он. – Вон там, в лесу, десять тысяч пруссаков Тельмана.

– А где же вино? – спросил я.

– Ну, вина двое гусар всегда раздобудут, – отвечал он и, взяв свечу, повел меня по каменной лестнице вниз на кухню.

Там мы увидели дверь, выходившую на винтовую лестницу, которая вела в погреб. Казаки уже побывали в погребе до нас, это было нетрудно понять по разбитым бутылкам, разбросанным повсюду. Мэр, видно, любил хорошо пожить, выбор вин был прекрасный: «Шамбертен», «Граве», «Аликан», белое и красное, игристое и простое, бутылки лежали пирамидами, стыдливо выглядывая из опилок. Старина Буве стоял со свечой, поглядывая по сторонам и мурлыкая, как кот перед миской молока. Наконец он выбрал бургундское и уже протянул руку к бутылке, как вдруг наверху раздались ружейная пальба, топот ног и такие крики и вопли, каких я сроду не слыхивал. Пруссаки напали на нас! Буве – настоящий храбрец, в этом ему не откажешь. Он выхватил саблю и бросился вверх по каменным ступеням, бряцая шпорами. Я поспешил за ним, но едва мы выбежали из кухни, оглушительные крики известили нас, что враг снова овладел домом. – Все погибло! – воскликнул я, хватая Буве за рукав.

– Я умру вместе с ними! – отвечал он и, как безумный, бросился вверх по лестнице. Право, я сам пошел бы на смерть, будь я на его месте, потому что он совершил серьезную ошибку, не выслав дозорных, которые донесли бы о приближении немцев. В тот миг я готов был броситься за ним, но потом вспомнил, что мне поручено важное дело, которое необходимо исполнить, а если меня возьмут в плен, письмо императора не будет доставлено. Поэтому я предоставил Буве умирать в одиночку, а сам снова спустился в погреб и плотно затворил за собой дверь.

Правда, и там, внизу, меня не ждало ничего хорошего. Когда поднялась тревога, Буве уронил свечу, и я, шаря в темноте, не мог нащупать ничего, кроме битых бутылок. Наконец я отыскал свечу, которая закатилась за бочонок, но как ни старался, не мог зажечь ее от трута: фитиль попал в лужу вина и намок. Сообразив, в чем дело, я обрезал его конец саблей, и свеча сразу загорелась. Но что делать дальше, я понятия не имел. Негодяи наверху хрипло орали, и, судя по крикам, их было несколько сотен; не приходилось сомневаться, что кое-кто из них вскоре пожелает промочить глотку. И тогда – конец храброму офицеру, письму императора, медали. Я подумал о своей матушке и об императоре. Слезы выступили у меня на глазах при мысли, что она потеряет такого замечательного сына, а он – одного из лучших офицеров во

всей легкой кавалерии, какой у него был со времен Лассаля. Но я мигом смахнул слезы. «Мужайся! – вскричал я, ударяя себя в грудь. – Мужайся, мой мальчик! Возможно ли, что тот, кто вернулся из Москвы целым и невредимым, даже не обморозившись, умрет во Франции, в этом винном погребе?» При этой мысли я вскочил на ноги и прижал руку к письму на груди, так как шелест бумаги вселял в меня храбрость.

Сначала я хотел поджечь дом, надеясь удрать среди переполоха. Потом решил залезть в пустой бочонок из-под вина. Я оглядывался вокруг, отыскивая подходящий бочонок, как вдруг обнаружил в углу низенькую дверцу, выкрашенную под цвет серой стены, так что лишь острый глаз мог ее заметить. Я толкнул ее, и мне поначалу показалось, что она заперта. Но тут она слегка подалась, и тогда я понял, что она просто приперта чем-то с той стороны. Я уперся ногами в большую бочку и так налег на дверь, что она распахнулась, я грохнулся навзничь, свеча выпала у меня из рук, и я снова очутился в темноте. Я встал и начал вглядываться в глубину сводчатого коридора, который оказался за дверью.

Через какую-то щель и решетку туда просачивался скупой свет. Снаружи уже рассвело, и я смутно увидел огромные выпуклые бока нескольких бочек и подумал, что, вероятно, здесь мэр держит свое вино, пока оно бродит. Во всяком случае, это место казалось мне более надежным убежищем, чем первый погреб, и я, взяв свечу, уже хотел закрыть за собой дверь, как вдруг увидел нечто такое, что удивило и даже, признаюсь, несколько испугало меня.

Я уже говорил, что в конце подвала откуда-то сверху сероватым веером пробивались лучи света. И вот, вглядываясь в темноту, я вдруг увидел, как в этой полосе света в дальнем конце коридора мелькнул какой-то огромный детина и исчез в темноте. Клянусь, я так вздрогнул, что мой кивер чуть не упал, оборвав ремешок! Я видел этого человека лишь мельком, но тем не менее успел разглядеть, что на нем мохнатая казацкая шапка и сам он здоровенный, длинноногий, широкоплечий, с саблей у пояса. Клянусь, даже Этьен Жерар пришел в замешательство, когда оказался во мраке наедине с таким чудовищем.

Но то был лишь один миг. «Мужайся, – сказал я себе. – Разве ты не гусар и не бригадир, разве тебе не тридцать один год и ты не доверенный гонец императора?» В конце концов у этого человека, который прятался в погребе, было больше причин бояться меня, чем у меня – его. И я вдруг понял, что он боится – боится до смерти. Я угадал это в его торопливости, в его поникших плечах, когда он бежал среди бочек, как крыса, прячущаяся в свою нору. И, конечно, это он не давал открыть дверь, а не какой-нибудь ящик или бочонок, как мне показалось. Значит, он был преследуемым, а я – преследователем. Ага! Я почувствовал, как мои бакенбарды ощетинились, когда я начал подступать к нему в темноте. Этот разбойник увидит, что имеет дело не с цыпленком. В тот миг я был великолепен.

Сначала я опасался зажечь свечу, чтобы не выдать себя, но после того, как я больно ударился ногой о ящик и запутался шпорами в каком-то тряпье, я решил, что лучше действовать смело. Итак, я зажег свечу и пошел вперед широким шагом, держа наготове обнаженную саблю.

– Выходи, негодяй! – рявкнул я. – Тебе нет спасенья. Ты наконец получишь по заслугам!

Я держал свечу высоко над собой и вдруг увидел его голову, глядевшую на меня поверх бочки. На его черной шапке был золотой шеврон, но и по выражению его лица я сразу понял, что это офицер и человек из высшего общества.

– Мсье! – воскликнул он на безукоризненном французском языке. – Я сдаюсь, если вы обещаете мне пощаду. В противном случае я дорого продам свою жизнь. – Мсье, – отвечал я, – француз умеет уважать побежденного врага. Ваша жизнь в безопасности. – Тогда он передал мне через бочку свою саблю, а я поклонился, поднеся руку со свечой к груди. – Кого мне выпала честь взять в плен? – спросил я. – Я граф Боткин из императорского донского казацкого полка, – отвечал он. – Я выехал со своим эскадроном на разведку в Сенли, и, так как ваших войск здесь не оказалось, мы решили заночевать в этом доме.

– Не сочтите нескромностью, если я полюбопытствую, как вы попали в этот темный подвал? – спросил я.

– Нет ничего проще, – отвечал он. – Мы собирались выступить на рассвете. Я чистил лошадь, промерз и, решив, что стакан вина мне не повредит, спустился сюда поискать чего-нибудь выпить. Я шарил здесь, как вдруг на дом напали враги, и прежде чем я успел подняться по лестнице, все было кончено. Мне оставалось лишь одно – позаботиться о своем спасении, поэтому я снова спустился сюда и спрятался в дальнем погребе, где вы меня и нашли.

Я вспомнил, как в подобных же обстоятельствах поступил Буве, и при мысли о славе Франции слезы выступили у меня на глазах. Но нужно было подумать, как поступить дальше. Было ясно, что этот русский граф, который сидел во втором подвале, пока мы были в первом, не слышал шума, иначе он сообразил бы, что дом снова в руках его союзников. Если он об этом догадается, роли переменятся, и я сам окажусь у него в плену. Что же делать? Я ума не мог приложить, но вдруг у меня мелькнула мысль столь блестящая, что я сам удивился своей изобретательности.

– Граф Боткин, – сказал я, – я оказался в весьма затруднительном положении. – Но почему же? – спросил он.

– Потому что я обещал сохранить вам жизнь. Он даже рот разинул.

– Ведь вы не возьмете назад свое слово? – воскликнул он.

– Если случится худшее, я умру, защищая вас, – сказал я. – Но положение не из легких.

– В чем же дело? – спросил он.

– Я буду г вами откровенен, – сказал я. – Вам должно быть известно, что наши ребята, и в особенности поляки, так настроены против казаков, что один только вид казачьей формы приводит их в ярость. Они бросаются на этого человека и буквально разрывают его на части. Даже офицеры не могут их удержать.

Услышав эти последние слова и тон, которым они были сказаны, русский побледнел.

– Но ведь это ужасно, – сказал он.

– Кошмар! – подтвердил я. И если сейчас мы оба поднимемся наверх, я не уверен, что сумею вас защитить.

– Я в ваших руках! – воскликнул он. – Что же вы посоветуете? Не лучше ли мне остаться здесь?

– Хуже ничего не придумаешь.

– Но почему же?

– Потому что наши люди сейчас станут обыскивать дом и вас изрубят на куски. Нет, нет, я должен пойти и подготовить их. Но даже тогда, едва они завидят ненавистный мундир, не знаю, чем все кончится.

– В таком случае, может быть, мне лучше снять мундир?

– Превосходная мысль! – воскликнул я. – Постойте, я придумал! Вы снимите свой мундир и наденете мой. Тогда вас не посмеет тронуть ни один француз. – Но я боюсь не столько французов, сколько поляков.

– Мой мундир охранит вас и от тех и от других.

– Как мне вас благодарить! – вскричал он. – Но вы… что же вы наденете? – Ваш мундир.

– Да ведь вы рискуете пасть жертвой своего благородства.

– Мой долг – принять риск на себя, – отвечал я. – Но я не боюсь. Я поднимусь наверх в вашем мундире. Сотня сабель сверкнет у меня над головой. «Стойте! – крикну я им. – Перед вами бригадир Жерар!» И тогда они взглянут мне в лицо. И сразу узнают меня. Я расскажу им про вас. В этом мундире никто не посмеет вас тронуть. Когда он снимал с себя мундир, пальцы его дрожали от поспешности. Его сапоги и рейтузы были очень похожи на мои, и меняться ими

не было надобности, так что я отдал ему свой ментик, доломан, кивер, пояс с ножнами и подсумком, а себе взял высокую шапку из овчины с золотым шевроном, меховой плащ и кривую саблю. Само собой разумеется, меняясь одеждой, я не забыл вынуть драгоценное письмо,

– А теперь, – сказал я, – с вашего позволения, я привяжу вас к бочке. Он принялся возмущаться, но я за свою боевую жизнь научился не пренебрегать никакими предосторожностями, а могли я быть уверен, что, едва я повернусь к нему спиной, он не сообразит, как обстоят дела в действительности, и не разрушит все мои планы? Он стоял в эту минуту, прислонившись к бочке, и я шесть раз обвязал его веревкой, а потом затянул ее сзади крепким узлом. Если он вздумает подняться наверх, то ему по крайней мере придется тащить на спине тысячу литров доброго французского вина. Потом я закрыл за собой дверь второго погреба, чтобы он не слышал, что происходит в первом, и, отбросив свечу, поднялся по лестнице в кухню. Там было всего ступеней двадцать, и все же, поднимаясь по ним, я успел подумать обо всем, что я еще рассчитывал совершить в жизни. Такое же чувство я испытывал при Эйлау, когда лежал со сломанной ногой и видел, как на меня несутся кони, запряженные в пушки. Конечно, я понимал, что если меня схватят, то пристрелят на месте, как переодетого шпиона. Но все же это будет славная смерть – смерть при исполнении личного приказа императора, – и я подумал, что в «Мониторе» поместят обо мне не меньше пяти строк, а может быть, и все семь. Про Паляре было восемь строк, а я уверен, что он совершил куда меньше славных подвигов.

Когда я вышел в коридор со всей непринужденностью на лице и в манерах, какую только мог на себя напустить, первое, что я увидел, был труп Буве с вытянутыми ногами и сломанной саблей в руке. По черному пороховому пятну я понял, что его застрелили в упор. Мне хотелось отдать честь, когда я проходил мимо, потому что это был настоящий храбрец, но я боялся, что кто-нибудь меня увидит, и прошел дальше.

В прихожей было полно прусских пехотинцев, которые пробивали бойницы в стене, видимо, ожидая нового нападения. Их офицер, щуплый коротышка, суетился, отдавая приказания. Все были слишком заняты, чтобы обращать внимание на меня, но второй офицер, который стоял у двери с длинной трубкой в зубах, подошел и хлопнул меня по плечу, указывая на трупы наших бедных гусар, и сказал что-то, очевидно, насмехаясь над ними, потому что под косматой бородой оскалились все его клыки. Я тоже весело засмеялся и сказал единственную русскую фразу, которой научила меня крошка Софи в Вильне: «Если ночь будет ясная, мы встретимся под дубом, а если будет дождь, встретимся в хлеву». Этому немцу все было едино, и он, без сомнения, решил, что я сказал что-то очень остроумное, так как покатился со смеху и еще раз хлопнул меня по плечу, Я кивнул ему и вышел на двор так спокойно, словно был комендантом всего гарнизона.

Снаружи было привязано около сотни лошадей, по большей части принадлежавших полякам и нашим гусарам. Моя милая Фиалка тоже ждала меня там и тихонько заржала, когда увидела, что я иду к ней. Но я не сел на нее. Нет, я не так прост! Наоборот, я выбрал самую лохматую казачью лошаденку, какую мог найти, и вскочил на нее так уверенно, словно до меня на ней ездил еще мой отец. Через спину у нее был перекинут здоровенный мешок с добром, который я переложил на фиалку, и повел ее за собой в поводу. До чего же я походил на казака, – право, на это стоило поглядеть. Тем временем пруссаки буквально наводнили город. Они толпились на тротуарах, указывали на меня пальцами и говорили друг другу, насколько я мог судить по их жестам: «Вот едет один из этих дьяволов-казаков…»

Несколько раз со мной повелительным тоном заговаривали офицеры, но я качал головой, улыбался и говорил: «Если ночь будет ясная, мы встретимся под дубом, а если будет дождь, встретимся в хлеву», – после чего они пожимали плечами и оставляли меня в покое. Наконец я миновал северную окраину города. На дороге я увидел двух дозорных улан с черно-белыми флажками и понял, что, когда миную их, снова буду свободен. Я пустил свою лошадку рысью, а Фиалка все время терлась мордой о мое колено и поглядывала на меня, словно спрашивая,

в чем она провинилась, что ей предпочли эту косматую клячу. До улан оставалась какая-нибудь сотня шагов, и представьте себе мои чувства, когда я вдруг увидел настоящего казака – он галопом скакал по дороге мне навстречу.

Ах, друзья мои, если у вас в груди есть сердце, вы, читая эти строки, посочувствуете человеку, который прошел через столько опасностей и испытаний, но в самый последний миг встретился с неминуемой гибелью! Признаюсь, у меня сердце упало, и я готов был в отчаянии бросится на землю и кричать, проклиная судьбу. Но нет, даже теперь я не был побежден. Я расстегнул две пуговицы мундира, чтобы в нужную секунду выхватить из-под него письмо императора, потому что твердо решил, если не останется никакой надежды, проглотить его и умереть с оружием в руках. Потом я проверил, свободно ли вынимается из ножен моя короткая кривая сабля, и рысью поехал прямо на дозорных. Они, видимо, намеревались остановить меня, но я указал на второго казака, который все еще был в двух сотнях шагов от меня, и они, поняв, что я еду ему навстречу, отдали честь и пропустили меня.

Тогда я вонзил шпоры в бока своей лошади, зная, что стоит мне подальше отъехать от улан, и я без труда справлюсь с казаком. Это был офицер, здоровенный бородач, с таким же золотым шевроном на шапке, как и у меня. Когда я поехал ему навстречу, он невольно помог мне, придержав лошадь, так что я успел достаточно удалиться от дозорных. Я ехал прямо на него и заметил, что при виде меня, моей лошадки, моего снаряжения в его глазах мелькнуло сперва недоумевающее, а потом подозрительное выражение. Не знаю, что у меня было не в порядке, но какую-то неполадку он заметил. Он крикнул, задавая мне какой-то вопрос, а потом, видя, что я не отвечаю, обнажил саблю. В душе я обрадовался этому, потому как предпочитаю честно драться, нежели зарубить ни о чем не подозревающего врага. Парируя его удар, я сделал ловкий выпад и попал как раз под четвертую пуговицу его мундира. Он упал с лошади и своей тяжестью едва не увлек на землю и меня, прежде чем я успел вытащить на него саблю. Я даже не взглянул на него, не поинтересовался, жив он или мертв, а сразу спрыгнул с казачьей лошадки, вскочил на Фиалку, дернул повод и послал воздушный поцелуй двоим уланам. Они с криком поскакали за мной, но Фиалка уже отдохнула и была полна сил, как в начале пути. Я свернул на первую же дорогу, которая шла на запад, потом на другую, к югу, – она должна была увести меня с вражеской территории. Мы мчались вперед, и с каждым шагом я удалялся от врагов и приближался к друзьям. Наконец после долгой скачки я, оглянувшись назад, не увидел преследователей и понял, что мытарства мои кончились.

Я поехал дальше, радуясь, что выполнил приказ императора. Что он скажет, когда увидит меня? Какими словами сможет по справедливости оценить тот невероятный путь, полный опасностей, которые я преодолел? Он приказал мне ехать через Сермуаз, Суассон и Сенли, даже не подозревая, что все они заняты врагом. И все же я выполнил приказ. Я в целости провез его письмо через эти города. Гусары, драгуны, уланы, казаки, пехотинцы – я прошел сквозь них, как сквозь строй, и вышел невредимым. Лишь добравшись до Даммартена, я наконец увидел наши передовые посты. Через поле ехал эскадрон драгун, и по конским хвостам на шлемах я сразу увидел, что это французы. Я поскакал к ним, намереваясь узнать, свободна ли дорога на Париж, и меня распирала гордость оттого, что я прорвался к своим, – я не выдержал и даже помахал саблей.

Тут от драгун отделился молодой офицер, тоже размахивая саблей, и на сердце у меня потеплело – с таким пылом, с таким восторгом мчался он приветствовать меня. Я заставил Фиалку сделать караколь и, когда мы съехались, еще усердней замахал саблей, но представьте себе мое удивление, когда он вдруг нанес мне такой удар, что снес бы мне голову с плеч, если б я не пригнулся, ткнувшись носом в гриву фиалки. Клянусь, клинок просвистел над моей головой, как восточный ветер. Конечно, во всем был виноват этот проклятый казацкий мундир, про который я в волнении совершенно забыл, и молодой драгун подумал, что перед ним русский удалец, который бросает вызов французским кавалеристам. Честное слово, он здорово перепугался, когда узнал, что чуть не зарубил знаменитого бригадира Жерара.

Что ж, путь был свободен, и около трех часов пополудни я въехал в Сен-Дени, но оттуда еще долгих два часа добирался до Парижа, потому что дорога была забита обозом и пушками артиллерийского резерва, двигавшимися на север, к Мармону и Мортье. Вы себе представить не можете, какой переполох вызвало мое появление в Париже в таком наряде, и, когда я выехал на рю де Риволи, за мной тянулся целый хвост конных и пеших длиной по меньшей мере в четверть мили. От драгун (двое из которых приехали вместе со мной) все узнали про мои приключения и про то, как я добыл казачий мундир. Это был настоящий триумф – мужчины кричали, женщины махали платками и посылали мне из окон воздушные поцелуи.

Хотя я совершенно лишен тщеславия, все же, признаюсь, я не мог скрыть, что столь горячий прием мне приятен. Русский мундир висел на мне мешком, но я выпятил грудь, пока он не натянулся, как кожура сосиски. А моя милая лошадка потряхивала головой, била передними ногами и махала хвостом, словно говоря: «На сей раз мы это сделали вместе. Нам можно доверять важные поручения». Спешившись у ворот Тюильри, я поцеловал се в морду, и тут раздались такие крики, словно только что огласили сводку о боевых действиях Великой армии.

Конечно, я не был подобающим образом одет, чтобы предстать перед королем, но в конце концов, если у человека мужественная фигура, он вполне может обойтись без всех этих тонкостей. Меня провели прямо к Жозефу, которого я не раз видел в Испании. Он был все такой же толстый, спокойный и добродушный. При нем был Талейран, – быть может, мне следует называть его герцогом Беневенто, но, признаюсь, старые имена мне больше по душе. Он прочел письмо, которое Жозеф Бонапарт передал ему, и посмотрел на меня со странным выражением в блестящих, смешных глазках.

– А кроме вас, император никого не послал? – спросил он.

– Послал еще одного офицера, – ответил я. – Майора Шарпантье из полка конных гренадеров.

– Он еще не прибыл, – заметил король Испании.

– Если б вы, ваше величество, видели, какие ноги у его лошади, вы не удивлялись бы этому, – сказал я.

– Возможны и другие причины, – заметил Талейран и улыбнулся своей

загадочной улыбкой.

Что ж, они отпустили мне несколько комплиментов, хотя могли бы сказать куда больше, и этого все равно было бы мало. Я откланялся и был рад удалиться, потому что ненавижу королевский двор так же горячо, как люблю армейский лагерь. Я поехал к своему старому другу Шоберу на рю Мироменил и взял у него гусарский мундир, который оказался мне как раз впору. Мы с ним и с Лизеттой хорошенько выпили у него на квартире, и я забыл обо всех превратностях судьбы. А наутро Фиалка опять была готова проскакать двадцать лиг. Я решил немедленно вернуться в ставку императора, потому что, как вы легко можете себе представить, мне не терпелось услышать его похвалы и получить награду.

Незачем и говорить, что назад я ехал безопасной дорогой, потому что довольно навидался улан и казаков. Я проехал через Мо и Шато-Тьерри и к вечеру прибыл в Реймс, где все еще находился Наполеон. Тела наших ребят и русских, убитых при СенПре, уже были похоронены, и в лагере я тоже заметил перемены. Солдаты имели уже не столь потрепанный вид; некоторые кавалеристы получили запасных лошадей, и все было в образцовом порядке. Просто поразительно, что может сделать хороший полководец за какие-нибудь два дня!

Когда я приехал в ставку, меня провели прямо к императору. Он пил кофе за письменным столом, и перед ним была разостлана большая карта. Бертье и Макдональд склонились по обе стороны от него, и он говорил так быстро, что, я уверен, ни один из них не мог уловить и половины его слов. Но когда взгляд его упал на меня, он выронил перо и вскочил с таким выражением на бледном лице, что я похолодел.

– Какого дьявола вы тут делаете? – закричал он. Когда он сердился, голос у него становился как у павлина.

– Честь имею доложить, ваше величество, – сказал я, – что я доставил ваше письмо королю Испании в целости и сохранности.

– Как! – завопил он, и его глаза пронзили меня, словно два штыка. О эти ужасные глаза, из серых они стали голубыми, как сталь, сверкающая на солнце! Я и теперь вижу их в кошмарных снах.

– А что с Шарпантье? – спросил он.

– Взят в плен, – отвечал Макдональд.

– Кем?

– Русскими.

– Казаками?

– Нет, одним казаком.

– Он сдался?

– Без сопротивления.

– Вот умный офицер. Позаботьтесь, чтобы он был непременно награжден почетной медалью.

Когда я услышал это, то протер глаза, так как мне показалось, что я сплю. – А вы, – крикнул император, делая шаг ко мне, словно хотел меня ударить, – у вас заячьи мозги! Зачем, как вы думаете, я послал вас с этим поручением? Неужели вы воображаете, что я доверил бы действительно важное письмо в ваши руки да еще послал бы вас через все города, которые в руках у неприятеля? Как вы через них проехали, не могу понять. Но если б у вашего товарища было так же мало ума, весь план кампании полетел бы к черту. Неужели вы не понимаете, coglione , что это письмо было военной хитростью, чтобы обмануть неприятеля и выиграть время для осуществления совсем другого плана?

Когда я услышал эти жестокие слова и увидел разгневанное бледное лицо, которое в ярости смотрело на меня, мне пришлось ухватиться за спинку стула, так как ноги у меня подкосились и я чуть не лишился чувств. Но я собрался с духом, вспомнив, что я дворянин и всю свою жизнь служил императору и моей любимой родине.

– Ваше величество, – сказал я, и слезы потекли у меня из глаз, – когда вы имеете дело с таким человеком, как я, лучше говорить все напрямик. Знай я ваше желание, чтобы письмо попало в руки врага, я бы позаботился об этом. Но я считал, что должен беречь его как зеницу ока, и готов был пожертвовать за него своей жизнью. Я не думаю, ваше величество, что есть в мире человек, который перенес бы больше невзгод и опасностей, чем я, когда старался выполнить то, что считал вашей волей. Сказав это, я вытер слезы и со всей горячностью, на какую был способен, рассказал ему обо всем: как прорвался через Суассон, как сражался с драгунами, ввязался в дело в Сенли, встретился в подвале с графом Боткиным, как я переоделся, как столкнулся с казачьим офицером, как бежал и как в последний миг меня чуть не зарубил французский драгун. Император, Бертье и Макдональд слушали с удивлением. Когда я кончил, Наполеон подошел ко мне и ущипнул меня за ухо.

– Ну полно, полно! – сказал он. – Забудьте все, что я сказал. Мне следовало больше доверять вам. А теперь вы свободны.

8. КАК БРИГАДИРА ИСКУШАЛ ДЬЯВОЛ

Весна уже совсем близко, друзья мои. Я вижу, что на каштанах снова пробиваются зеленые ростки, и все столики выставлены из кафе на солнышко. Сидеть там куда приятнее, и все же мне хочется, чтобы мои скромные рассказы стали достоянием всего города. Вы слышали о моих делах, когда я был лейтенантом, эскадронным командиром, полковником и командиром бригады. Но теперь я вдруг стал чем-то более важным и высоким. Я стал историей.

Если вы читали о последних годах жизни императора на Святой Елене, то, конечно, помните, что он не раз умолял разрешить ему отправить хоть одно письмо, которое не будет вскрыто его тюремщиками. Много раз обращался он с этой просьбой и дошел даже до того, что обещал, если это будет ему позволено, содержать себя на собственный счет, избавив английское правительство от этой статьи расхода. Но тюремщики знали, как ужасен этот бледный, полный человек в соломенной шляпе, и боялись удовлетворить его просьбу. Многие гадали, кто же тот адресат, которому император хочет поверить столь важные тайны. Некоторые называли его жену. некоторые – тестя, иные – императора Александра, а кое-кто – маршала Сульта. Но что вы подумаете обо мне, друзья мои, если я скажу вам, что это мне, да, мне, бригадиру Жерару, хотел написать император? Вашему покорному слуге на пенсии всего в сто франков – только-только не умереть с голоду; и, уверяю вас, это правда: император все время вспоминал меня и отдал бы свою левую руку, только бы поговорить со мной пять минут. Сегодня я расскажу вам, как это получилось.

Дело было после битвы при Фер-Шампенуаз, где новобранцы в блузах и деревянных башмаках воевали так, что мы, самые проницательные, почувствовали приближение конца. Наши боеприпасы были захвачены врагом, наши пушки замолчали, зарядные ящики были пусты. Кавалерия тоже пришла в жалкое состояние, и моя собственная бригада была разбита в атаке при Краоне. А потом пришли известия, что враг взял Париж, где горожане подняли белую кокарду, и, наконец, самое ужасное – что Мармон со своим корпусом перешел на сторону Бурбонов. Мы только переглядывались и спрашивали друг друга, сколько же еще из наших генералов нас предадут. Журден, Мармон, Мюрат, Бернадот и Жомини уже сделали это, хотя о Жомини никто не жалел, потому что перо его было острее шпаги. Мы были готовы воевать против Европы, но теперь выходило, что придется воевать не только против Европы, но и против половины Франции.

После долгого форсированного марша мы дошли до Фонтенбло и собрались там – жалкие остатки армии: корпус Нея, корпус моего двоюродного брата Жерара и корпус Макдональда, всего двадцать пять тысяч из них семь тысяч гвардейцев. Но у нас была слава, которая стоила пятидесяти тысяч, и наш император, который стоил еще пятидесяти. Император всегда был с нами, спокойный, улыбающийся, уверенный; он как ни в чем не бывало нюхал табак и пощелкивал хлыстиком. Даже в дни его величайших побед я не восхищался им так, как во время битвы за Францию.

Как-то вечером я пил сюренское вино в обществе офицеров своей бригады. Я говорю, что это было сюренское, чтобы вы поняли, какие нелегкие для нас настали времена. Вдруг мне доложили, что Бертье требует меня к себе. Когда я говорю о своих старых соратниках, я, с вашего позволения, буду отбрасывать все красивые иностранные титулы, которые они получили во время войн. Эти титулы хороши при дворе, но их никогда не услышишь в армии, потому что мы никак не могли расстаться с нашим Неем, Раппом или Сультом – эти имена звучали музыкой в наших ушах, как звуки труб, играющих побудку. Итак, Бертье вызвал меня к себе. Его резиденция была в конце галереи Франциска Первого, неподалеку от покоев императора. В приемной уже ждали два офицера, которых я хорошо знал: полковник Депьен из Пятьдесят седьмого линейного полка и капитан Тремо из Вольтижерского. Оба были старые вояки – Тремо побывал еще в Египте, – и, кроме того, оба славились в армии своей храбростью и умением владеть оружием. У Тремо рука несколько ослабела, но Депьен, стоило ему хорошенько постараться, мог бы заставить попотеть меня самого. Это был коротышка дюйма на три ниже хорошего мужского роста, – он был ровно на три дюйма ниже меня, но во владении саблей и шпагой он несколько раз успешно соперничал со мной, когда показывал свое искусство в Верронском фехтовальном зале в Пале-Рояль. Сами понимаете, когда мы все трое очутились в одной комнате, то сразу почуяли, что пахнет чем-то серьезным. Если видишь салат и приправу, сразу ясно, какое готовится блюдо.

– Клянусь моей трубкой! – сказал Тремо по-солдатски грубо. – Уж не ожидают ли прибытия троих приверженцев Бурбонов?

Нам эта мысль показалась весьма вероятной. Ну конечно же, из всей армии именно нас троих и могли избрать для встречи с ними.

– Князь Нешательский желает говорить с бригадиром Жераром, – объявил лакей, появляясь в дверях.

Я вошел, а двое моих товарищей остались ждать, снедаемые нетерпением. Кабинет был небольшой, но роскошно обставленный. Бертье сидел за столиком с пером в руке, и перед ним лежал открытый блокнот. Усталый и неряшливый с виду, он был совсем не похож на того Бертье, который слыл законодателем мод во всей армии и часто заставлял нас, менее состоятельных офицеров, рвать на себе волосы, когда оторачивал ментик в одну кампанию простым мехом, а в другую – каракулем. По его гладко выбритому лицу видно было, что ему не по себе, и, когда я вошел, он посмотрел на меня каким-то бегающим, неприятным взглядом.

– Командир бригады Жерар! – сказал он.

– Слушаю вас, ваше высочество! – отозвался я.

– Прежде чем начать разговор, я прошу вас дать мне честное слово благородного человека и офицера, что все сказанное останется между нами.

Клянусь, начало было многообещающее! У меня не было иного выбора, как дать слово.

– Знайте же, что дело императора проиграно, – сказал он, глядя в стол и медленно, словно с большим трудом, подбирая слова. – Журден в Руэне и Мармон в Париже подняли белую кокарду, ходят слухи, что Талейран уговорил Нея сделать то же самое. Совершенно ясно, что дальнейшее сопротивление бессмысленно и не может принести нашей стране ничего, кроме несчастий. Итак, я спрашиваю вас, готовы ли вы вместе со мной захватить императора и положить конец войне, передав его в руки союзников?

Уверяю вас, что, услышав это гнусное предложение, сделанное мне, старому другу императора, который получил от него больше милостей, чем любой из его приверженцев, я мог только стоять как столб и пялить на него глаза. А он кусал перо и поглядывал на меня, склонив голову.

– Ну? – спросил он.

– Я глуховат на одно ухо, – отвечал я ледяным тоном. – Есть вещи, которых я не слышу. Прошу вас, позвольте мне вернуться к исполнению моих обязанностей. – Ну-ну, не будьте же таким упрямым, – сказал он, вставая, и положил руку мне на плечо. – Вы же знаете, что сенат отстранил Наполеона от власти и император Александр отказывается вести с ним переговоры.

– Мсье! – горячо воскликнул я. – Да будет вам известно, что в моих глазах сенат вместе с императором Александром не стоят осадка в выпитом бокале!

– Что же имеет значение в ваших глазах?

– Моя честь и верность моему славному повелителю, императору Наполеону. – Все это превосходно, – сказал Бертье, раздраженно пожимая плечами. – Но факты остаются фактами, и мы, как разумные люди, должны смотреть им в глаза. Вправе ли мы противостоять воле народов? Вправе ли в довершение всех наших несчастий допустить гражданскую войну? И, кроме того, наши силы тают. Каждый час приходят известия о все новых дезертирствах. Пока не поздно, надо заключить мир с противником; к тому же мы получим немалую награду, выдав императора.

Я потряс головой так решительно, что сабля зазвенела у меня на боку. – Мсье! – воскликнул я. – Не думал я дожить до такого дня, когда маршал Франции падет так низко, что сделает мне столь гнусное предложение. Оставляю вас на суд собственной вашей совести. Что же до меня, то/пока я не получу личный приказ императора, сабля Этьена Жерара всегда будет защищать его от врагов. Я был так растроган этими словами и собственным благородством,

что голос мой пресекся и я едва сдержал слезы. Хотел бы я, чтобы вся армия видела, как я стоял с высоко поднятой головой, приложив руку к сердцу, провозглашая свою преданность императору в трудную минуту. Это было одно из самых великих мгновений моей жизни. – Что ж, прекрасно, – сказал Бертье и звонком вызвал лакея. – Проводите бригадира Жерара в гостиную.

Лакей провел меня во внутренние покои и предложил сесть. Но моим

единственным желанием было уйти, и я никак не мог понять, почему меня задерживают. Человек, который ни разу не сменил мундир за всю зимнюю кампанию, чувствует себя неловко во дворце.

Я прождал около четверти часа, а потом лакей снова распахнул дверь, и вошел полковник Депьен. Боже правый, что у него был за вид! Его лицо стало белым, как гетры гвардейца, глаза были вытаращены, вены на лбу вздулись, а усы встопорщились, как у разъяренной кошки. Он был слишком рассержен, чтобы говорить, и лишь потрясал над головой кулаками, а в горле у него клокотало.

– Отцеубийца! Змея!

Только эти слова я и слышал, пока он метался по комнате.

Мне было совершенно ясно, что ему сделали то же гнусное предложение и он ответил в том же духе, что и я. Он ничего не сказал мне, как и я ему, потому что оба мы дали слово, но все же я пробормотал: «Ужасно! Неслыханно!» – давая ему понять, что я с ним согласен.

Он все еще метался взад-вперед по комнате, а я сидел в углу, как вдруг в кабинете, из которого мы незадолго перед тем вышли, раздался невероятный шум. Это было хриплое, злобное рычанье, словно разъяренная собака вцепилась в добычу. Потом раздался треск и крик о помощи. Мы оба вбежали в кабинет и, клянусь, только-только поспели вовремя.

Старина Тремо и Бертье покатились на пол, опрокинув стол на себя. Капитан желтой, костлявой рукой стиснул горло маршала, чье лицо уже стало свинцового цвета, а глаза вылезли из орбит. Тремо был вне себя, в углах его рта выступила пена, а на лице было такое безумное выражение, что, я уверен, если б мы не разжали его железную хватку палец за пальцем, он задушил бы маршала насмерть. От усилия у него даже ногти побелели.

– Это дьявол! Он искушал меня! – крикнул Тремо, с трудом вставая на ноги. – Да, меня искушал дьявол!

Бертье же молча прислонился к стене и несколько минут не мог отдышаться, приложив руку к горлу и вертя головой. Потом он раздраженно повернулся к тяжелой голубой шторе за креслом.

Штора отдернулась, и в комнату вошел император. Мы все трое вытянулись и отдали честь, но нам казалось, что это сон, и глаза у нас самих полезли на лоб, как только что у Бертье. Наполеон был в зеленом егерском мундире и держал в руке хлыст с серебряной рукояткой. Он взглянул на каждого из нас по очереди с улыбкой – со своей ужасной улыбкой, которая не отражалась ни в глазах, ни на лице, – у каждого, я уверен, мороз прошел по коже, потому что взгляд императора почти на всех оказывал именно такое действие. Потом он подошел к Бертье и положил руку ему на плечо. – Вы не должны обижаться на удары, дорогой князь, – сказал он.

Он умел придавать своему голосу мягкий, ласковый тон. Ни в чьих устах французский язык не звучал так красиво, как в устах императора, и ни в чьих устах он не бывал таким резким и беспощадным.

– Да ведь он чуть не убил меня! – воскликнул Бертье, все еще вертя головой. – Ну, полно! Я сам пришел бы к вам на помощь, если б эти офицеры не услышали ваш крик. Но надеюсь, вы не пострадали слишком серьезно!

Он сказал это без тени улыбки, потому что в самом деле очень любил Бертье – больше всех, кроме разве бедняги Дюрока.

Бертье засмеялся, хотя и натянуто.

– Я не привык страдать от руки француза, – сказал он.

– Но тем не менее вы пострадали во имя Франции, – возразил император. Потом, повернувшись к нам, он слегка дернул старину Тремо за ухо. – А, это ты старый ворчун, – сказал он, – ты, помнится, был среди моих гренадеров еще в Египте, а после Маренго получил в награду почетный карабин. Я хорошо помню тебя, дружище. Значит, старый огонь еще не погас! Он сразу вспыхивает, когда тебе кажется, что посягают на твоего императора. А вы, полковник Депьен, не стали и слушать искусителя, И вы, Жерар, тоже. Ваша верная сабля всегда ограждает меня от врагов. Что ж, в моем окружении оказалось несколько изменников, но теперь наконец мы знаем истинных друзей.

Можете представить себе, друзья мои, какая радость охватила нас, когда величайший человек в мире сказал нам эти слова! Тремо так дрожал, что я боялся, как бы он не упал, и слезы катились по его огромным усищам. Тот, кто этого не видел, никогда не поймет, какую власть имел император над загрубелыми сердцами своих ветеранов.

– Так вот, мои верные друзья, – сказал он, – следуйте за мной вон в ту комнату, и я объясню вам, что значила эта маленькая комедия. Бертье, прошу вас, останьтесь здесь и позаботьтесь, чтобы нас не беспокоили.

Для нас было в новинку заниматься делами, в то время как у двери будет стоять на часах маршал Франции. Однако мы повиновались и последовали за императором, который отвел нас к оконной нише, попросил подойти ближе и начал, понизив голос: – Я выбрал вас из целой армии, считая не только самыми бесстрашными, но и самыми преданными мне людьми. Я всегда был убежден, что вы все трое никогда не поколеблетесь в своей верности мне. И если я решился подвергнуть эту верность испытанию и наблюдал за вами, пока Бертье по моему приказу уговаривал вас поступиться честью, то это лишь потому, что сегодня, когда среди самых близких мне людей я вижу черную измену, мне приходится быть вдвойне осторожным. Но теперь я убежден, что могу положиться на вашу доблесть.

– До последнего вздоха, ваше величество! – вскричал Тремо, и все мы повторили вслед за ним эти слова.

Наполеон попросил нас подойти к нему совсем вплотную и еще больше понизил голос:

– То, что я вам сейчас скажу, я не доверил никому, даже жене и братьям, об этом будете знать только вы. Наше дело погибло, друзья мои. Наступает последний парад. Игра проиграна, и надо принять соответствующие меры.

Когда я это услышал, сердце мое словно превратилось в девятифунтовое ядро. Мы еще надеялись вопреки очевидности, но теперь, когда он, всегда такой спокойный и уверенный, своим тихим и бесстрастным голосом сказал, что все кончено, мы поняли, что тучи сгустились и последний луч безвозвратно угас. Тремо что-то проворчал и схватился за саблю, Депьен скрипнул зубами, а я выпятил грудь и щелкнул каблуками, дабы показать императору, что есть души, способные сохранить ему верность в беде. – Необходимо спасти мои документы и состояние, – прошептал император. – От их сохранности зависит, какой оборот примут события в дальнейшем. Они залог нашего будущего успеха, ибо я уверен, что для этих жалких Бурбонов скамеечка, на которую я ставлю ноги, и та слишком высока, чтобы служить им троном. Но где мне хранить эти драгоценности? Все мое имущество обыщут, дома моих сторонников тоже. Их должны спрятать и сохранить люди, которым я могу доверить то, что для меня важнее жизни. Это священное доверие я оказываю вам, единственным на всю Францию.

Прежде всего я объясню, что это за бумаги. Вам не придется сетовать, что я сделал вас своим слепым орудием. Это официальные свидетельства моего развода с Жозефиной и законного брака с Марией-Луизой, а также рождения нашего сына и наследника, короля

римского. Если мы не сможем доказать это, будущие претензии моей семьи на французский трон рухнут. Кроме того, тут на сорок миллионов франков ценных бумаг – это огромная сумма, друзья мои, но она стоит не больше, чем вот этот хлыст, по сравнению с документами, о которых я говорил. Я говорю вам все это, чтобы вы поняли, какой огромной важности дело я вам поручаю. А теперь слушайте, я скажу, где вы получите эти бумаги и что должны с ними сделать.

Сегодня утром в Париже их вручили моему преданному другу графине Валевской. В пять часов она в своей голубой дорожной карете выедет в Фонтенбло. Сюда она прибудет между половиной десятого и десятью. Бумаги будут спрятаны в карете, в тайнике, который не известен никому, кроме нее. Она предупреждена, что карету при въезде в город остановят три конных офицера, и передаст вам пакет. Жерар, вы моложе всех, но старший по чину. Возьмите вот это кольцо с аметистом, вы покажете его графине как условный Знак, а потом отдадите его ей вместо расписки.

Получив пакет, вы поедете лесом до разрушенной голубятни. Возможно, я буду ждать вас там, но если я сочту это опасным, то пошлю своего личного камердинера Мустафу, чьи приказания вы должны исполнять, как мои собственные. Крыши у голубятни нет, и сегодня полнолуние. Справа от входа у стены вы найдете три лопаты. Выкопайте в северо-восточном углу, ближайшем к Фонтенбло, слева от входа, яму в три фута глубиной. Закопав бумаги, вы аккуратно разровняете землю, а потом явитесь ко мне во дворец с докладом.

Таков был приказ императора, ясный и исчерпывающий во всех подробностях, как это умел делать он один. Кончив, он заставил нас поклясться сохранить тайну до его смерти и до тех пор, пока бумаги останутся там. Снова и снова он заставлял нас клясться в этом и наконец отпустил.

Полковник Депьен жил в гостинице «Большой фазан», и там мы все вместе выпили. Мы привыкли к самым невероятным превратностям судьбы, это составляло неотъемлемую часть нашей жизни, и все же мы были взволнованы и растроганы необычайным разговором с императором и мыслью о великом деле, которое нам предстояло совершить. Мне посчастливилось трижды получать приказ из уст самого императора, но ни случай с Братьями из Аяччо, ни знаменитая поездка в Париж не таили в себе таких возможностей, как это новое, необычайно ответственное поручение. – Если дела императора поправятся, – сказал Депьен, – мы еще доживем до того, что нас произведут в маршалы. И мы выпили за свои будущие треуголки и жезлы. Мы условились, что поедем порознь и соберемся у первого столба на парижской дороге. Так мы избежим всяких слухов, которые могут возникнуть, если увидят вместе троих таких знаменитых людей. Моя верная Фиалка потеряла в то утро подкову, и когда я вернулся, кузнец ее ковал, поэтому, приехав на место встречи, я уже застал там своих товарищей. Я взял с собой не только саблю, но и пару новых английских нарезных пистолетов с деревянной колотушкой для забивания зарядов. Я заплатил за них у Трувеля, на рю де Риволи, сто пятьдесят франков, но зато они били дальше и точнее всяких других. При помощи одного из этих пистолетов я спас в Лейпциге жизнь старику Буве. Ночь была безоблачная, и за спиной у нас ярко светила луна так, что перед нами по белой дороге все время двигались три черных всадника. Но леса в тех местах до того густые, что мы не могли видеть далеко. Большие дворцовые часы уже пробили десять, а графини все не было. Мы начали уже опасаться, что ей по какой-либо причине не удалось выехать. Но потом мы услышали стук колес и цоканье копыт. Сперва они были едва слышны. Потом стали громче, яснее, отчетливее, и, наконец, из-за поворота показались два желтых фонаря, при свете которых мы увидели двух больших гнедых лошадей, запряженных в высокую голубую карету. Форейтор осадил их в нескольких шагах от нас, они храпели и роняли с морд пену. В мгновенье ока мы очутились у кареты и отдали честь, приветствуя даму, чье бледное, прекрасное лицо смотрело на нас из окна.

– Перед вами трое офицеров, которые действуют по приказу императора, мадам, – сказал я негромко, наклонившись к открытому окну. – Вы предупреждены, что мы будем вас ждать.

У графини было очень красивое, белое, как мрамор, лицо – такие лица мне особенно нравятся, – но, глядя на меня, она становилась все белее и белее. Резкие морщины избороздили ее лицо, и она прямо у меня на глазах вдруг превратилась из молодой женщины в старуху.

– Мне совершенно ясно, – сказала она, – что вы трое – низкие обманщики. Если бы она дала мне своей нежной ручкой пощечину, я не удивился бы больше. Поразительны были не только слова, но и та горечь, с которой она выдавила их из себя. – Право, мадам, – сказал я, – вы к нам несправедливы. Это полковник Депьен и капитан Тремо. А сам я бригадир Жерар и смею заверить: мне достаточно лишь назвать свое имя, чтобы всякий, слышавший про меня, подтвердил…

– Ах, негодяи! – перебила она меня. – Вы думаете, что если я всего только слабая женщина, меня так легко провести! Презренные лгуны!

Я взглянул на Депьена, который побледнел от ярости, и на Тремо, свирепо дергавшего себя за усы.

– Мадам, – сказал я холодно, – когда император оказал нам честь, возложив на нас это поручение, он дал мне в качестве условного знака вот этот перстень с аметистом. Я полагал, что три достойных человека могут обойтись и без него, но теперь мне остается только опровергнуть ваши недостойные подозрения, вручив его вам. Она поднесла перстень к фонарю, и выражение безысходного отчаяния исказило ее лицо.

– Это его перстень! – вскрикнула она. – Боже мой, что я наделала! Что я наделала!

Я понял, что произошло нечто ужасное.

– Скорей же, мадам, скорей! – воскликнул я. – Давайте бумаги!

– Я уже отдала их.

– Отдали! Но кому?

– Трем офицерам.

– Когда?

– Полчаса назад.

– Где эти офицеры?

– О господи, если б я знала! Они остановили карету, и я отдала им пакет без колебаний, уверенная, что их послал император.

Это было подобно удару грома. Но именно в такие мгновенья я предстаю во всем своем блеске.

– Оставайтесь здесь, – бросил я товарищам. – Если мимо проедут три всадника, задержите их любой ценой. Мадам опишет вам их внешность. А я мигом вернусь. Стоило мне тронуть повод, и я уже летел в Фонтенбло, как мог лететь только я на моей Фиалке. У дворца я спрыгнул на землю, бросился вверх по лестнице, отшвырнул в сторону лакеев, которые пытались преградить мне путь, и ворвался прямо в кабинет императора. Он и Макдональд с карандашами в руках что-то отмечали на карте, сверяясь по компасу. При моем внезапном появлении он поднял голову и недовольно нахмурился, но, узнав меня, переменился в лице.

– Оставьте нас, маршал, – сказал он и, едва дверь закрылась, нетерпеливо спросил: – Ну, что с бумагами?

– Они пропали! – воскликнул я и в коротких словах рассказал ему, что произошло. Внешне лицо его оставалось спокойным, но я видел, что компас дрожит у него в руке.

– Вы должны вернуть их, Жерар! – воскликнул он. – На кон поставлена судьба моей династии. Не теряйте ни секунды! В седло, скорее в седло!

– Кто эти люди, ваше величество?

– Не знаю. Я окружен изменниками. Но они доставят бумаги в Париж. И уж, конечно, прямо к этому мерзавцу Талейрану! Да, да, эти люди едут в Париж, их еще можно догнать. Три лучших скакуна из моей конюшни и…

Я не стал дожидаться конца фразы. Я уже бежал вниз по лестнице. Уверяю вас, и пяти минут не прошло, как я уже галопом вылетел на Фиалке из города, держа обеими руками в поводу двух лучших арабских скакунов императора. Мне предлагали трех, но после этого я никогда не посмел бы взглянуть в глаза моей Фиалке. Я сам любовался собой, когда подлетел к своим товарищам, озаренный луной, и осадил коней у самых их ног.

– Никто не проезжал?

– Никто.

– В таком случае они на парижской дороге. Скорей в погоню!

Храбрые офицеры не заставили себя ждать. В одно мгновенье они уже сидели на императорских конях, а своих бросили у обочины. И мы пустились в погоню: я – посередине, Депьен – справа, а Тремо – чуть позади, потому что был тяжелее нас. Боже, какая это была скачка! Двенадцать подков грохотали по твердой, ровной дороге. Мелькали тополя и луна в их ветвях, черные полосы и серебряные пятна – миля за милей лежал наш путь все по той же, словно расчерченной квадратами дороге; впереди мчались наши тени, а сзади клубилась пыль. С грохотом проносясь мимо домов, мы слышали скрежет засовов и скрип ставен, но, прежде чем люди успевали взглянуть нам вслед, мы превращались в три маленьких, темных пятнышка. Когда мы въехали в Корбель, пробило полночь, но конюх, держа в каждой руке по ведру, стоял у гостиницы, и его тень ложилась на полосу золотого света, падавшего из открытой двери. – Три всадника! – крикнул я, задыхаясь. – Здесь не проезжали три всадника? – Я только что поил их коней, – отвечал он. – По-моему они…

– Вперед, друзья, вперед!

И мы помчались дальше, высекая подковами искры из булыжной мостовой городка. Жандарм попытался остановить нас, но его голос утонул в грохоте и треске. Дома мелькали мимо, и вот уж мы снова на дороге, а до Парижа еще добрых двадцать миль. Как могли эти люди уйти от нас, если их преследовали на лучших скакунах Франции? Ни один не отстал ни на шаг, но фиалка все время была на полкорпуса впереди. Она скакала не в полную силу, и я чувствовал, что стоит мне дать ей волю, и императорские скакуны увидят ее хвост.

– Вот они! – воскликнул Депьен.

– Теперь не уйдут! – проворчал Тремо.

– Вперед, друзья, вперед! – снова воскликнул я. Белая дорога убегала вдаль в лунном свете. И далеко впереди мы увидели трех всадников, припавших к шеям лошадей. Мы настигали их, с каждым мгновеньем они становились все больше и отчетливей. Я уже ясно видел, что двое, которые скакали по краям, закутаны в плащи и едут на гнедых лошадях, а тот, что посередине, в егерском мундире и конь под ним серый. Они скакали рядом, но по аллюру среднего коня было видно, что он самый свежий. А тот, кто сидел на нем, видимо, был главным, потому что он то и дело оборачивался, измеряя взглядом расстояние между нами, и лицо его белело в лунном свете. Сначала оно казалось сплошь белым, потом его как бы перечеркнули усы, и, наконец, когда нам в ноздри начала забиваться пыль, поднятая копытами их коней, я узнал этого человека.

– Стойте, полковник де Монтлюк! – крикнул я. – Именем императора приказываю вам остановиться!

Я много лет знал его как смелого офицера и отъявленного негодяя. И кроме того, между нами были кое-какие счеты, потому что он убил в Варшаве моего друга Тревиля, спустив курок, как говорили, за секунду до того, как секундант бросил платок. Едва я выкрикнул эти слова,

оба его спутника обернулись и выстрелили в нас из пистолетов. Я услышал, как Депьен отчаянно вскрикнул, и в тот же миг мы с Тремо выстрелили в одного и того же. Он повалился вперед, уронив руки вдоль шеи лошади. Его товарищ, пришпорив коня и обнажив саблю, поскакал прямо на Тремо, раздался лязг, какой можно услышать, когда сильный удар парируют еще более сильным. Но я даже не повернул головы, а в первый раз тронул Фиалку шпорой и помчался вслед за главным негодяем. То, что он бросил своих товарищей и пустился наутек, само по себе было достаточным основанием, чтобы мне тоже бросить своих и гнаться за ним. Он выиграл сотни две ярдов/но моя добрая лошадка наверстала их, не проскакали мы и двух миль. Напрасно он пришпоривал и нахлестывал коня, как артиллерийский ездовой, когда увязнет пушка. С него слетела шляпа, и лысина засверкала под луной. Но как он ни старался, все равно стук копыт становился все ближе и ближе за его спиной. Я был уже в двадцати шагах от него, и «тень моей головы касалась тени его ноги, как вдруг он с проклятьем повернулся в седле и разрядил оба пистолета один за другим прямо в Фиалку.

Я сам так часто бывал ранен/ что не сразу и сосчитаю, сколько раз. Меня ранили из ружей, из пистолетов, осколками ядер, не говоря уж о том, что неоднократно протыкали штыком, копьем, саблей и наконец шилом, что было всего больнее. И все же ни одно из этих ранений не причинило мне такого нестерпимого страдания, как в ту минуту, когда я почувствовал, что бедное, бессловесное, кроткое существо, которое я любил больше всех на свете, кроме моей матушки и императора, зашаталось и споткнулось подо мной. Я вынул из кобуры второй пистолет и выстрелил этому негодяю прямо между лопаток. Он сильно хлестнул по боку свою лошадь, и я уже думал, что промахнулся. Но потом я увидел на его зеленом егерском мундире расползающееся темное пятно, он стал клониться в седле, сначала едва заметно, а потом все больше, и наконец упал, запутавшись ногой в стремени, и волочился по дороге, пока у лошади не стало сил тащить его, и тут я схватил покрытую пеной узду. Когда я остановил лошадь, кожаное стремя ослабло, и нога, обутая в сапог, упала на землю, громко звякнув шпорой. – Бумаги! – воскликнул я, соскакивая с седла. – Немедленно!

Но тело в зеленом мундире уже лежало на земле бесформенной грудой, озаренное луной, руки были причудливо раскинуты, и я понял, что с ним все кончено. Пуля пронзила ему сердце, и лишь железная воля так долго удерживала его в седле. Он был упрям при жизни, этот Монтлюк, и, надо быть справедливым, остался таким же в смертный час. Но я думал о бумагах – только о них. Я расстегнул его мундир и ощупал рубашку. Потом обыскал кобуры и подсумок. Наконец стянул с него сапоги и, отпустив подпругу у лошади, пошарил под седлом. Не осталось ни одного самого укромного местечка, которое я не обыскал бы. Но тщетно! Бумаг при нем не было.

Ошеломленный этим ударом, я готов был сесть у обочины дороги и заплакать. Видно, судьба ополчилась против меня, а перед таким противником не стыдно спасовать и доброму гусару. Я стоял, обняв за шею мою бедную, раненую лошадку, и пытался собраться с мыслями, чтобы решить, как быть дальше. Для меня не было секретом, что император не слишком высокого мнения о моем уме, и я жаждал доказать ему, что он ко мне несправедлив. У Монтлюка бумаг нет. И все же Монтлюк пожертвовал своими спутниками, только бы удрать. Тут я ничего не мог понять. Но, с другой стороны, было ясно, что если у него бумаг нет, значит, они у одного из тех двоих. Один убит, это я знал точно. Второй, когда я ускакал, дрался с Тремо, и если ему удалось уйти от этого старого рубаки, он все равно не минует меня. Значит, надо ехать назад.

Прикинув все это, я перезарядил пистолеты. Потом сунул их в кобуры и осмотрел свою лошадку, которая все время мотала головой и прядала ушами, словно хотела сказать, что такой ветеран, как она, не станет обращать внимания на пустяковые царапины. Первая пуля только скользнула по ее лопатке, оцарапав кожу, словно поверхность стены. Вторая рана была серьезнее. Пуля прошла через мускулы шеи, но кровь уже не текла. Я подумал, что, если она ослабеет, я пересяду на серого коня Монтлюка, а пока повел его в поводу, потому что это был

хороший конь и стоил он по меньшей мере пятнадцать тысяч франков, а я имел на него все права.

Теперь я горел нетерпением поскорей вернуться назад, но только пустил Фиалку вскачь, как вдруг увидел в поле у дороги что-то блестящее. Это было медная отделка на егерской шляпе, слетевшей с головы Монтлюка; при виде ее я даже подпрыгнул в седле. Как могла шляпа слететь? Ведь она тяжелая. А не бросил ли он ее нарочно? Она лежит шагах в пятнадцати от дороги! Ну конечно же, он бросил ее, когда понял, что ему от меня не уйти. А если так… Не теряя времени, я соскочил с лошади, и сердце у меня билось так, словно я мчался в атаку. Да, теперь все в порядке. Там, в его шляпе, были бумаги, свернутые трубкой, обернутые в пергамент и перевязанные желтой лентой. Я вытащил их одной рукой и, держа шляпу другой, заплясал от радости в лунном свете. Император увидит, что не ошибся, когда поручил это дело Этьену Жерару.

У меня на груди, у самого сердца, был потайной карман, где я хранил всякие дорогие для меня мелочи, и туда я засунул бесценный сверток. Потом вскочил на Фиалку и поехал посмотреть, что сталось с Тремо, но вдруг вдали, в поле, заметил всадника. Через мгновенье я услышал топот копыт и увидел при свете луны императора; он был в сером сюртуке и треуголке, верхом на белом жеребце – таким я часто видел его на поле сражения.

– Ну! – крикнул он по своему обыкновению грубым фельдфебельским тоном. – Где мои бумаги?

Я подскакал к нему и подал их без единого слова. Он разорвал ленту и быстро пробежал их глазами. Лошади наши стояли голова к хвосту, и он положил мне левую руку на плечо. Да, друзья мои, меня, простого, скромного человека, обнял мой великий повелитель.

– Жерар! – воскликнул он. – Вам нет равных! Я, конечно, не стал ему возражать и покраснел от радости, видя, что наконец-то справедливость восторжествовала. – А где же похититель, Жерар? – спросил он.

– Мертв, ваше величество.

– Вы убили его?

– Он ранил мою лошадь, ваше величество, и удрал бы, если б я его не пристрелил.

– Вы его узнали?

– Это де Монтлюк, ваше величество, командир егерского полка.

– Так, – сказал император. – Мы отрубили щупальце, но рука, которая ведет главную игру, все еще недосягаема. – Он помолчал, склонив голову на грудь. – Ах, Талейран, Талейран, – услышал я его шепот, – будь я на твоем месте, а ты на моем, ты раздавил бы змею, когда она была у тебя под каблуком. Я знал, каков ты, целых пять лет и все же пощадил тебя, а теперь ты норовишь меня ужалить. Но ничего, Жерар, – добавил он, поворачиваясь ко мне, – пробьет мой час, и когда он пробьет, клянусь, я не забуду своих друзей, так же как и врагов.

– Ваше величество, – сказал я, потому что тоже успел поразмыслить, – ваши планы насчет этих бумаг, видно, дошли до ушей врагов. Но я надеюсь, вы не думаете, что это случилось из-за какой-либо нескромности моей или моих товарищей? – Как я могу это думать? – отвечал он. Ведь заговор составлен в Париже, а вы получили от меня приказ всего несколько часов назад.

– Так каким же образом…

– Довольно! – резко оборвал он меня. – Вы забываетесь.

Вот так он всегда. Мог беседовать с человеком, как с другом или братом, а потом, когда тот забывал, какая пропасть отделяет его от императора, вдруг словом или взглядом напоминал, что она все так же широка и бездонна. Бывает, я ласкаю свою старую собаку и она осмеливается положить лапу мне на колено – тогда я сбрасываю ее и вспоминаю императора и эту его манеру.

Он повернул лошадь, и я молча поехал вслед за ним, а на душе у меня было тяжко. Но когда он снова заговорил, его слова сразу заставили меня забыть обо всем. – Я не мог уснуть, не узнав, как у вас дела, – сказал он. – Я заплатил за эти бумаги дорогой ценой. У меня осталось не так много старых солдат, чтобы я мог позволить себе в одну ночь потерять двоих.

Когда он сказал «двоих», я весь похолодел.

– Полковник Депьен убит выстрелом из пистолета, ваше величество, – пробормотал я,

– А капитан Тремо зарублен. Подоспей я на пять минут раньше, я мог бы спасти его. А негодяй ускакал в поле.

Я вспомнил, что за секунду до того, как подъехал император, я видел всадника. Чтобы избежать встречи со мной, он свернул в поле, но знай я, кто он, и не будь Фиалка ранена, старый солдат не остался бы неотмщенным. Я с грустью вспоминал о том, как ловко он владел саблей, и думал, что, вероятно, его погубила ослабевшая рука, как вдруг Наполеон заговорил снова.

– Да, бригадир, – сказал он, – теперь вы один будете знать, где спрятаны мои бумаги.

Быть может, мне это только показалось, друзья мои, но, откровенно говоря, я не уловил в голосе императора сожаления. Однако не успела эта горькая мысль промелькнуть у меня в голове, как он доказал мне, что я к нему несправедлив. – Да, я дорого заплатил за эти бумаги, – сказал он, и я услышал, как они захрустели под его рукой. – Ни у кого не было таких преданных слуг – ни у кого, с тех пор как стоит мир.

Тем временем мы подъехали к месту схватки. Полковник Депьен и человек, которого мы застрелили, лежали рядом поодаль от дороги, а их лошади преспокойно паслись среди тополей. Капитан Тремо лежал прямо перед нами на спине, раскинув руки и ноги, еще сжимая обломок сабли. Мундир его был расстегнут, и большой кровавый лоскут, как темный платок, торчал из ворота белой рубашки. Из-под огромных усов блестели оскаленные зубы.

Император спешился и наклонился над убитым.

– Он был со мной с самого Риволи, – сказал он печально. – Это один из моих старых ворчунов, которые воевали еще в Египте.

И этот голос воскресил человека из мертвых. Я увидел, как его веки дрогнули. Он шевельнул рукой и на несколько дюймов сдвинул эфес сабли. Это он пытался поднять ее, приветствуя императора. Потом челюсть у него отвисла, и обломок сабли, звякнув, упал на землю.

– Да пошлет нам судьба столь же геройскую смерть, – сказал император, выпрямляясь, и я от всего сердца добавил:

– Аминь.

Шагах в пятидесяти от нас была усадьба, и хозяин, разбуженный стуком копыт и треском выстрелов, выбежал на дорогу. Теперь мы увидели его, – онемевший от страха и удивления, он глядел на императора во все глаза. Его заботам мы и передали всех четырех убитых и лошадей. Я счел за лучшее оставить у него Фиалку, а самому пересесть на серого жеребца Монтлюка, потому что мою лошадь он мне наверняка отдаст, а с чужой могут возникнуть затруднения. Кроме того, рана моей Фиалки требовала лечения, а нам предстоял обратный путь.

Сначала император был молчалив. Быть может, смерть Депьена и Тремо все еще тяготила его душу. Он всегда был сдержан, и в эти трудные времена, когда каждый час приносил ему вести об успехе его врагов или отступничестве друзей, нечего было ожидать, что он окажется веселым собеседником. Тем не менее, когда я думал, что он везет на груди бумаги, которые так важны для него и которые всего лишь час назад были, казалось, утрачены безвозвратно, и это я, Этьен Жерар, вернул их ему, я чувствовал, что заслуживаю некоторого внимания. Та

же мысль, по-видимому, пришла в голову и ему, потому что, когда мы наконец свернули с парижской дороги в лес, он сам заговорил о том, о чем у меня так и чесался язык его спросить.

– Так вот, – сказал он, – я уже говорил вам, что теперь, кроме вас и меня, ни один человек на свете не будет знать, где мы спрячем эти бумаги. Мой мамелюк отнес к голубятне лопаты, но я не сказал ему, зачем они нужны. С другой стороны, план доставки бумаг из Парижа обсуждался с понедельника. Тайну знали трое: одна женщина и двое мужчин. Женщине я, не колеблясь, доверил бы свою жизнь. Кто их двоих мужчин оказался предателем, я не знаю, но клянусь, что буду знать.

Мы ехали в это время в тени деревьев, и я слышал, как он пощелкивал хлыстом по сапогу и закладывал в нос понюшку за понюшкой, как делал всегда, когда волновался. – Вы, разумеется, удивлены, – сказал он, помолчав, – почему эти негодяи остановили карету не в Париже, а при въезде в Фонтенбло.

Этот вопрос не приходил мне в голову, но я не хотел показаться глупее, чем он меня считал, и сказал, что это в самом деле странно.

– Если б они это сделали, был бы публичный скандал и они рисковали не достичь цели. В Париже им пришлось бы разломать карету на мелкие куски. Он это ловко придумал, насчет Фонтенбло, на это он мастер, и хорошо выбрал людей. Но мои люди оказались лучше.

Не мне, друзья мои, повторять вам все, что сказал император, пока мы ехали шагом под сенью темных деревьев и через посеребренные луной прогалины знаменитого леса. Каждое его слово отпечаталось в моей памяти, и, прежде чем умереть, я хотел бы запечатлеть их на бумаге для потомков. Он охотно говорил о своем прошлом и более скупо – о будущем, о преданности Макдональда, предательстве Мармона, о маленьком римском короле, о котором вспоминал с такой же нежностью, как всякий отец о своем единственном ребенке, и наконец о своем тесте, австрийском императоре, который, как он надеялся, защитит его от врагов. Я же не смел вымолвить ни слова, помня, что уже раз вызвал этим его неудовольствие; но я ехал с ним бок о бок и едва мог поверить, что рядом со мной в самом деле великий император, человек, чей взгляд наполнял меня восторгом, что это он поверяет мне сейчас свои мысли короткими, энергичными фразами, – его слова гремели, как копыта целого эскадрона, скачущего галопом. Мне кажется, после словесных ухищрений и дипломатии двора для него было облегчением излить душу передо мной, простым солдатом.

Так мы с императором – даже после стольких лет я краснею от гордости, что могу произнести вместе эти слова, – мы с императором ехали шагом через лес Фонтенбло, пока наконец не очутились у голубятни. Справа от выломанной двери стояли у стены три лопаты, и при виде их на глаза у меня навернулись слезы: я вспомнил о тех, для чьих рук они были предназначены. Император схватил одну, я – другую.

– Скорей! – сказал он. – Мы должны вернуться во дворец до рассвета. Мы выкопали яму, засунули бумаги в мою пистолетную кобуру, чтобы предохранить их от сырости, положили ее на дно и засыпали землей. Потом тщательно разровняли землю, а сверху навалили большой камень. Смею вас заверить, что с тех пор, как император молодым артиллеристом готовил своих подчиненных к штурму Тулона, ему не доводилось так поработать руками. Он начал утирать лоб шелковым платком задолго до того, как мы закончили дело.

Первые серые, холодные лучи утреннего света уже пробивались меж стволов, когда мы вышли из старой голубятни. Император положил мне руку на плечо, и я стоял, готовый помочь ему сесть на коня.

– Мы оставили бумаги здесь, – сказал он торжественно, – и я хочу, чтобы самую мысль о них вы тоже оставили здесь. Пусть воспоминание о них совершенно исчезнет из вашей головы и оживет лишь тогда, когда вы получите прямой приказ, собственноручно написанный мной и скрепленный моей печатью. А сейчас вы должны забыть все, что произошло.

– Я уже забыл, ваше величество.

Мы доехали вместе до окраины города, и там он приказал мне покинуть его. Я отдал честь и уже поворачивал лошадь, когда он меня окликнул.

– В лесу легко можно спутать страны света, – сказал он. – Скажите, а мы не зарыли их в северо-западном углу?

– Что зарыли, ваше величество?

– Бумаги, разумеется! – сердито воскликнул он.

– Какие бумаги, ваше величество?

– Тысяча чертей! Да мои бумаги, которые вы мне вручили.

– Я, право, не понимаю, о чем ваше величество изволит говорить.

Он побагровел от гнева, но тут же рассмеялся.

– Молодец, бригадир! – воскликнул он. – Я начинаю верить, что вы такой же хороший дипломат, как и военный, а это в моих устах высшая похвала.

Вот какое это было удивительное приключение, и с тех пор я стал другом и доверенным лицом императора. Когда он вернулся с Эльбы, он решил выждать и не выкапывать бумаги, пока его положение не упрочится, и они так и остались в углу старой голубятни, когда он был сослан на Святую Елену. Там он вспомнил про них и пожелал, чтобы они попали наконец в руки его приверженцев, и написал мне, как я узнал впоследствии, три письма, но все они были перехвачены охраной. Тогда он предложил, что сам будет содержать себя и своих приближенных, – ведь он был богатый человек, – если хоть одно его письмо пропустят, не распечатывая. Но в этой просьбе ему было отказано, и до самой его смерти в двадцать первом году бумаги оставались там, где мы их спрятали. Я рассказал бы и о том, как мы с графом Бертраном откопали их и в чьи руки они в конце концов перешли, но это дело пока еще не кончено.

Когда-нибудь вы еще услышите об этих бумагах и увидите, что великий человек, который давно в могиле, до сих пор способен привести в содрогание Европу. И когда этот день наступит, вы вспомните Этьена Жерара и расскажете своим детям, что слышали про это удивительное дело из уст человека, который один из всех, принимавших в нем участие, остался в живых, – человека, которого искушал маршал Бертье, который был впереди в отчаянной скачке на парижской дороге, удостоился объятий самого императора и ехал с ним в лунную ночь по лесу Фонтенбло. Почки лопаются на деревьях, и птицы щебечут, друзья мои. Вам будет приятней погулять на солнышке, чем слушать рассказы старого, немощного солдата. И все же не грех вам сохранить в памяти то, что я говорю, потому что еще много раз будут лопаться почки и петь птицы, прежде чем Франция увидит второго такого повелителя, как тот, которому мы с гордостью служили.
